



**Елена Клепикова
Владимир Исаакович Соловьев
Быть Иосифом Бродским.
Апофеоз одиночества**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=16411776

Быть Иосифом Бродским / В. Соловьев, Е. Клепикова.: РИПОЛ классик; Москва; 2015

ISBN 978-5-386-08270-3

Аннотация

Владимир Соловьев близко знал Иосифа Бродского с ленинградских времен. Этот том – итог полувековой мемуарно-исследовательской работы, когда автором были написаны десятки статей, эссе и книг о Бродском, – выявляет пронзительно-болевым камертон его жизни и судьбы.

Не триумф, а трагедия, которая достигла крещендо в поэзии. Эта юбилейно-антиюбилейная книга – к 75-летию великого трагического поэта нашей эпохи – дает исчерпывающий портрет Бродского и одновременно ключ к загадкам и тайнам его творчества.

Хотя на обложке и титуле стоит имя одного ее автора, она немыслима без Елены Клепиковой – на всех этапах создания книги, а не только в главах, лично ею написанных. Как и предыдущей книге про Довлатова, этой, о Бродском, много поспособствовала мой друг, замечательный фотограф и художник Наташа Шарымова.

Художественным редактором этой книги в Нью-Йорке был талантливый фотограф Аркадий Богатырев, чьи снимки и коллажи стали ее украшением.

Я благодарен также за помощь и поддержку на разных этапах работы

Белле Билибиной, Сергею Браверману, Сергею Виннику, Саше Гранту, Лене Довлатовой, Евгению Евтушенко, Владимиру Карцеву, Геннадию Кацову, Илье Левкову, Маше Савушкиной, Юрию Середе, Юджину (Евгению) Соловьеву, Михаилу Фрейдлину, Науму Целесину, Изе Шапиро, Наташе Шапиро, Михаилу и Саре Шемякиным, а также моим постоянным помощникам по сбору информации X, Y & Z, которые предпочитают оставаться в тени – безымянными.

Содержание

Книга первая	4
Остров по имени Бродский	4
Бродский – это я!	4
АПОФЕОЗ ОДИНОЧЕСТВА. ИОСИФУ БРОДСКОМУ – к 50-летию	23
Три еврея, или Утешение в слезах	33
Бикфордов шнур. Предисловие к «Трем евреям»	33
Три еврея, или Утешение в слезах – 1975. Главы о Бродском	43
Глава 7	43
Глава 8	43
Глава 9	45
Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969	46
Глава 11. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ НЕ ПО ПЛУТАРХУ	49
Глава 12. ДЕКОРАЦИИ К «ТРЕМ ЕВРЕЯМ» (отрывки)	70
Глава 13. ТРИ ПОЭТА	75
Глава 19. РАЗГОВОР С НЕБОЖИТЕЛЕМ – 1975	84
Глава 27. САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ ГЕРОЕВ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ	89
Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ	99
Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ	101
В сторону Иосифа. Постскрипумы к «Трем евреям»	108
Александр Кушнер & Иосиф Бродский	108
Анна, Иосиф & сэр Исая	112
Конец ознакомительного фрагмента.	114

Владимир Соловьев, Елена Клепикова

Быть Иосифом Бродским

Иосифу Бродскому – с любовью и беспощадностью

Книга первая

Остров по имени Бродский

Бродский – это я! Мысли вразброд – и врасплох

*Ты – это я.
ИБ. Письмо Горацию*

*Я – это он.
ИБ об Одеде*

Это моя новая книга о Бродском. Не только в том смысле, что в ней сплошь новые тексты, но и старые, прежние, классические, хрестоматийные переписаны наново и обогащены, как уран. Вот-вот: разница, как между простым ураном и ураном обогащенным. Новые времена – новые песни? Опять-таки не только: в новые времена и старые песни поются по-новому. Окромя тех моих «песен», которые не подлежат изменению, дабы сохранить их аутентичность, будь то моя горячая питерская исповедь «Три еврея», из которой для этой книги вычленены главы, напрямую связанные с Бродским, либо мой юбилейный ему адрес – единственный печатный отклик на его прижизненный полтинник. Не считая тех же «... евреев», которые под изначальным названием «Роман с эпиграфами» были изданы в Нью-Йорке к его 50-летию. Не просто моральное право, а моя творческая обязанность – отметить теперь его новый юбилей, увы, посмертный: 75! Юбилейная книга о Бродском. Своего рода юбилейный адрес в жанре и формате книги. Сие вовсе не значит, что это юбилейное издание – сплошь панегирик юбиляру. Отнюдь. Юбилейная книга, но без юбилейного глянца. «Многоуважаемый шкаф...» – не мой жанр. Приветствовал бы эту книгу юбиляр? Без разницы. Эта книга не для него, а про него. Для живых, а не для мертвых. Вспоминаю, однако, что со своих ленинградских дней рождения Ося сбегал незнамо куда: ищи ветра в поле. А в родном нашем городе так иногда сквозило, что человек терял самого себя. Идея двойничества припала трижды переименованному городу в самый раз. Был ли у Бродского двойник? И не один. Человек не равен самому себе, об этом и пойдет речь.

Две большие разницы – идолопоклонство и любовь. Я следую завету моих далеких предков: не сотвори себе кумира. А потому, где и как могу, пытаюсь раскумирить и демифологизировать Бродского, в которого мы с Еленой Клепиковой были влюблены с давних питерских времен, когда общались с ним часто, тесно и на равных. Эта книга создана с ее помощью и без ее участия и соучастия немыслима (спасибо, Лена!), но, в отличие от предыдущей – про Довлатова – книги авторского сериала под рабочим названием «Фрагменты великой судьбы», Лена сняла свое имя с обложки и титула ввиду несогласия с иными моими высказываниями. Скорее даже с их тоном, чем сутью. Свои собственные тексты она печатает

в этой книге под своим именем – триптих, посвященный Бродскому, хоть и раскиданный по разным отсекам – см. оглавление и ищи в основном корпусе. Того стоит.

В чем, однако, мы с Леной Клепиковой сошлись: развенчание культа Бродского позарез – во имя любви к нему. Дабы спасти реального, знакомого, живого, близкого, любимого человека из-под завалов памятника, который должен быть разрушен, как Карфаген. ИБ – в данном случае JB (Joseph Brodsky) – часто повторял «plane of regard», то есть точка отсчета. Я избрал домашний plane of regard, интимный угол зрения. В таком подходе есть свои достоинства и свои недостатки, чему наглядным свидетельством эта книга.

Целевая установка автора: создать трагический образ большого русского поэта, нигде не выпрямляя ни его поэтический путь, ни его человеческую судьбу. Внутреннее задание автора самому себе – дать сложный, противоречивый, оксюморонный, амбивалентный, парадоксальный портрет, даже если симпатии, фанаты и фанатики Бродского сочтут эту юбилейную книгу антиюбилейной и съедят меня живьем. Что ж, вызываю огонь на себя – мне не привыкать. За мной не заржавеет – хоть уже вечер, но еще не ночь. А потому скажу заранее: панегиристам Бродского лучше держаться подальше от этой юбилейно-антиюбилейной книги. Она не просто не для них – она им не по зубам. То есть не по мозгам. Чтобы я заинтересован был только в согласных читателях? Ни в коем разе. Но не в тех, которые относят своих любимцев к секте неприкасаемых.

Задача не из легких: сделать из памятника человека, чтобы Бродский снова стал похожим на самого себя, а не на монумент, стащить его с пьедестала, пробиться сквозь «бронзы многопудье» и «мраморную слизь» к живому человеку, каким автор знал его в личку и близко, и к его великим стихам, которые я люблю с общей нашей ленинградской молодости. Мы так его тогда и называли, с легкой руки поэта Лени Виноградова: ВР.

Великий Русский.

Пусть Бродский даже гений (допускаю), но не святой, а потому не «Житие святого Иосифа», но «Быть Иосифом Бродским. Апофеоз одиночества». Нет, нет, не модная нынче патологография, но все-таки и не агиография! Да и не биография вовсе, хотя все признаки словесного байопика имеют место быть, но – портрет, которому авторизация покойника или его правопреемников без надобности. Портрет Бродского, несколько отличный от его автопортретов в стихах и рисунках. На одном в лавровом венке – однако! В разговорах с друзьями он был более самокритичен, называл себя монстром и исчадием ада, пусть и не без кокетства:

– Достаточно взглянуть в зеркало... Достаточно припомнить, что я натворил в этой жизни с разными людьми.

Прошу прощения за старомодный термин: когнитивный диссонанс.

Вот еще одна ссылка на моего героя:

Человек привык себя спрашивать: кто я? Там ученый, американец, шофер, еврей, иммигрант...

А надо бы все время себя спрашивать: – Не говно ли я?

«И среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он» – вот классическая формула поэта, увы. Кто из них время от времени не впадал в ничтожество? А из нас? Можно привести длинный список поэтов, которых никак уж не назовешь святыми: злослов и всеобщий обидчик (включая своего будущего убийцу) Лермонтов, картежный шулер Некрасов, Фет, который довел до самоубийства брюхатую от него бесприданницу, отказавшись жениться, предавший Мандельштама в разговоре со Сталиным Пастернак, да и сам Мандельштам, заложивший на допросах читателей и слушателей его антисталинского стиха – мало ли! Бродский – не исключение. Что несколько не умаляет его поэтического подвига,

благодаря которому он стал вровень с классиками русского стиха, одним из трех лучших наших поэтов прошлого века. Третьим – не только хронологически. С моей точки зрения, он уступает Мандельштаму и Пастернаку по богатству эмоциональной палитры и значению в отечественной поэзии, но его голос – самый трагический, он возвел трагедию на античный уровень. Его лучшие стихи, типа «Разговора с Небожителем», – для меня вровень с драмами Софокла. Вот уж полная лажа (одна из его любимых дефиниций) – относить это великое стихотворение к богоискательству, как это делает биограф-агиограф Лев Лосев (Леша Лифшиц, каковым он был для всех нас в Питере)! Какое, к черту, богоискательство, когда Бродский, разговаривая с Небожителем, низвел трагедию до уровня своей биографии – «Трагедия – событие биографическое», по его словам – и возвел катастрофу своей жизни на уровень античной трагедии.

Восприятие Бога у Бродского – опять-таки трагическое. Он называл себя кальвинистом, хотя я не уверен, что был прав, тем более его представление о кальвинизме поверхностное и приблизительное: на месте изначальной греховности человека у Бродского индивидуальное чувство вины. На мой взгляд, в глубине души и в отношениях с Богом он остался иудеем, недаром так любил Книгу Иова и сравнивал себя с ее героем. Даже его atonement – не только в Судный день! – скорее Jewish guilt, чем латинская mea culpa.

Смотри ж, как, наг
и сир, жлоблюсь о Господе, и это
одно тебя избавит от ответа.
Но это – подтверждение и знак,
что в нищете
влачащий дни не уstraшитcя кражи,
что я кладу на мысль о камуфляже.
Там, на кресте,

не возоплю: «Почто меня оставил?!»
Не превращу себя в благую весть!
Поскольку боль – не нарушение правил:
страданье есть
способность тел,
и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли
ее предел.

Что касается помянутой агиографии Бродского, то это, конечно, лучше, чем такие очевидные фальшаки, как лжемемуары о нем Кушнера, о чем/о ком у меня еще будет возможность сказать пару ласковых слов. Именно поэтому на книжке Лосева стоит остановиться чуть подробнее, хотя, конечно жаль, что моя критика обращена к ныне покойному автору и у него нет возможности ответить мне с того света.

Оба наших с ним опуса о Бродском – его «Апология Бродского» и мой докурман «Post mortem» – вышли одновременно в 2006 году, в параллель друг другу, а потому воспринимались читателями по контрасту. Отдам должное автору этого жэзээловского curriculum vitae: он знает толк в стихосложении и ямб от хорея может отличить, будучи сам средней руки пиитом, но это, увы, не помогает ему в понимании стихов своего героя, которое у него на нуле, а то и ниже плинтуса. Что видно и очевидно из его «богоискательской» трактовки «Разговора с Небожителем» либо, скажем, из определения жанра щемяще лиричного стихотворения «Лагуна» как поэтического травелога. Опять пальцем в небо! У поэта Лосева

именно на поэзию деревянное ухо, ему катастрофически не хватает самого элементарного читательского чутья, которое он безуспешно пытается подменить тяжеловесным и неуместным, чисто сальериевским разъятием и умертвлением стиха: «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию».

Однако главный порок этой вымученной, бескрылой, наукообразной, но квазинаучной и, увы, мертворожденной книги, что она сплошь апологетична, а потому ультратенденциозна. Любое слово Бродского принимается на веру, включая, к примеру, вздорную его концепцию о первородстве, превосходстве и прерогативах поэзии над прозой, а отсюда ужé – сакрализация поэзии как таковой. Зато любая критика Бродского отмечается сходу, а критики подвергаются личной дискредитации и шельмованию. Забыто старинное правило полемики: спорят с мнениями, а не с лицами. Прикрываясь Бродским, как щитом, Лосев ведет ураганный огонь по всем его оппонентам – от поэтов Эдуарда Лимонова и Дмитрия Бобышева и художника Михаила Шемякина до питерской возлюбленной и по совместительству музы поэта Марины Басмановой, гостеприимной венецейской покровительницы Бродского Марии Дориа де Дзулиани и его мичиганского студента Александра Минчина. Не только всем сестрам, но и всем братьям по серьгам, то бишь инвективам – без разбору, а тем более без гендерного различия.

Ну, о Бобышеве, любовном сопернике друге-враге Бродского, и говорить нечего, хотя обвинять талантливого поэта с отменным вкусом в пошлости есть само по себе пошлость. Но вот другой поэт – Лимонов с его довольно любопытной и часто обоснованной критикой поздних стихов и литературной стратегии Бродского. Не «опускаясь» до спора по существу, Лев – Леша Лосев – Лифшиц лихо расправляется с ним, объясняя позицию Лимонова бытовым антисемитизмом, хотя при всем радикализме его идеологической программы, антисемитизма у Лимонова ни в одном глазу, скорее наоборот, о чем можно судить по его откровенно юдофильским высказываниям. Да я и сам могу засвидетельствовать его жидолюбие. Как говорил Довлатов, вредный стук.

О Марии Джузеппине Дориа де Дзулиани сам Бродский неблагодарно и хамски прошелся в своем довольно слабом венецейском травелоге «Набережная неисцелимых», где Венеция как таковая отсутствует (очередное свидетельство, что «смотреть он не способен», как верно подметил Андрей Сергеев, близкий друг ИБ), чисто «по-мужски» мстя словом за ее отказ перепихнуться с ним: «Общение с ним было пыткой, – вспоминает итальянская графиня. – Каждое утро уже под мухой он заявлялся ко мне, выкрикивая с улицы самые неприличные слова. Я очень боялась, что соседи поймут, что кричит наш гость. Он абсолютно не знал, как себя вести – был навязчивым, нарочитым. Все разговоры наши сводились к тому, что он меня “хочет”. Это было тяжело и неприятно. Я видела, как в Питере женщины буквально падали перед ним на колени, там он был бог, миф. Но в Венеции была совсем другая жизнь. И та неделя была для меня кошмаром. В конце концов, я не выдержала, открыла дверь, схватила его за ворот и спустила с лестницы». Тут уж, выглядывая из-за спины Бродского, его агиограф и вовсе распоясывается и винит «графинюшку» в недоброжелательности и лжи. По принципу «дружить не с кем, а против кого».

Не решаясь аналогичным образом очернить Марину Басманову, единственный адресат любовной лирики однолюба Бродского, Лосев, ничтоже сумняшеся, объявляет, что «преображение поэта было произведено любовью поэта к одной женщине», хотя в действительности – самой женщиной, за что ИБ неустанно благодарит МБ: «Я был попросту слеп. Ты, возникая, прячась, даровала мне зрячьсть...»

Ко всем этим смещениям и передергиваниям, которые вконец обесценивают эту холуйскую – вычеркиваю и заменяю на «верноподданническую» – и за счет этого спесивую книжку (исключение – составленная Валентиной Полухиной обширная, в 100 страниц, «Хронология»), у меня еще будет вынужденная возможность возвратиться, включая самый,

на мой взгляд, возмутительный подлог, когда апологет-аллилуйщик-агиограф объявляет воспоминания Александра Минчина «сведением счетов», а его самого мешает с говном, обзывая культурно неподготовленным, заурядным студентом, а то и просто неучем, что с точностью до наоборот. См. об этом главу «Голова профессора ИБ Бродского» и автокомментарий-сноску к ней.

Здесь скорее, чем о нью-йоркской камарилье Бродского, следует говорить о его питерском кагале – опять цензурирую самого себя, чтобы чего не подумали! – питерской кодлешобле (читателю на выбор), хотя они и срослись в конце концов почти без швов. Этакая дикийвинная смесь лакейства и спеси. «Присосались, как пиявки», – говорил о своих земляках Бродский – впрочем, беззлобно, по-пацански, чтобы не сказать по-пахански: примбалерине нужен кордебалет в качестве фона. А вот как это выглядело со стороны. Сначала из письма ко мне одного довольно известного по обе стороны океана человека, но при условии полной анонимности («только не упоминая моего имени и не делая авторство прозрачным – ведь они меня схарчат! Баюс!»):

Вы, при всем критицизме, очень добры к нему. Он, видимо, был страшная сука. А его окружение – еще сучее. Я встречался с ним только один раз – у Олега Целкова (Бродский считал его фамилию неприличной), в Тушино, он читал «Шествие», я был сражен наповал. Я не мог оценить его как личность тогда. О сучьем окружении – это же нужно – запретить публикации о его личной жизни, закрыть все источники, письма на 75 лет! Кому он тогда на... будет нужен?

Преувеличение, конечно. Никаких запретов на публикации о его личной жизни нет и не может быть по определению: сколько угодно! Все архивы Бродского – в Российской национальной библиотеке в Петербурге, в библиотеке Бейнеке Йельского университета и Стэнфордском университете – в свободном доступе и, по разъяснению вдовы Марии Соццани-Бродской, которая вместе с Энн Шелберг, литературным душеприказчиком ИБ, возглавляет Фонд наследственного имущества Иосифа Бродского (The Estate of Joseph Brodsky), завещательная просьба Бродского касается публикации его личных писем: скажем, его переписки с Мариной Басмановой, которую он вел со времени своего отъезда из России почти до самой смерти (1972–1995). А теперь – письмо Лене Клепиковой и мне от Юнны Мориц конца 1988 года под впечатлением о вашингтонской встрече с Бродским:

Иосиф необычайно красив, хоть и взял одежду напрокат у героев Чаплина: это его старит, всасывает в старческий обмен веществ; ритм скелетный и мышечный, а также сосудистый – лет на 60... Но он, к сожалению, охотно дает питерской братии примерять тайком свою королевскую мантию, свою премию и крошит свой триумф, как рыбий корм в аквариуме... Иосифа спешат они сделать своим «крёстным отцом», загнать в могилу (чтобы не взял свои слова назад!) и усыпать её цветочками.

Отмечу еще две забавности. Из читанных мною разножанровых опусов о Бродском из-под пера его бывших земляков по Питеру выходят сплошь пустышки, а то и много хуже, тогда как самые ценные принадлежат иноземным друзьям поэта – москвичам Андрею Сергееву и Виктору Куллэ, литовцу Томасу Венцлове, поляку Адаму Михнику, русской британке Валентине Полухиной, которая издала 62 из данных Бродским 181 интервью. Два восклицательных знака после каждой цифры!

Касаемо ЖЗЛ, двум самым знаменитым нью-йоркско-питерским писателям как-то особенно, я бы сказал, катастрофически не повезло с книгами про них в этой серии, пусть и по контрасту: панегирик Льва Лосева о Бродском и пасквиль Валерия Попова о Довлатове. Еще вопрос, что хуже. Крайности сходятся. Родоначальник был прав, поставив в параллель хвалу

и хулу: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». В обеих книгах – stolen personality, покража личности. А взамен – чучело гороховое.

В книге «Быть Иосифом Бродским» дан не триумф, а трагедия поэта. Трагедия – его муза и питательная среда его триумфа. Его личная трагедия стала его триумфом, не перестав быть трагедией.

«Сохрани, Боже, ему быть счастливым: с счастьем лопнет прекрасная струна его лиры», – провидчески писал князь Петр Вяземский о Бродском. Лавровые листья его нобелевского венка интересуют автора этой книги в последнюю очередь, если интересуют вообще. Разве что предпринятые Бродским усилия для получения высшей на земле награды, которые дорогого ему стоили и дорого обошлись, но он был сам себе суперменеджер, саморекламист и, словами Ахматовой, не про него сказанным, «виртуозный ловец человеков», по-здешнему – «useful people»: от Сьюзен Зонтаг и Роберта Страуса до супругов Либерман, много поспособствовавших получению Премии, несомненно, им заслуженной и вымечтанной с давних питерских времен, судя по французскому стишку, сочиненному им на заре туманной юности без никакого знания французского языка:

*Prix Nobel?
Oui, ma belle.*

В ожидании Нобеля он прожил всю свою сознательную жизнь вплоть до ее присуждения – не он один, но ИБ больше других, такая страсть не может быть односторонней, не может не быть вознаграждена. Не знаю, буду ли верно понят, да мне все равно: Премию он получил не только за свой великий талант, но и за великое ее вождение. Не будь Нобельки, Бродский на нашей с ним географической родине котирировался бы высоко, но не выше, чем другие поэты-современники – в одном ряду с Ахмадулиной, Окуджавой, Евтушенко, Вознесенским, Высоцким, Коржавиным, Самойловым и проч. Как знать, может даже ступенькой ниже иных из них. Было отчего иным из них озлобиться и шизануться, даже тем, кого рядом с Нобелькой не стояло (см. мемуар того же Наймана, еще одного друга-врага Бродского, а поэта – никакого), когда шведы выбрали Бродского. Стокгольм выдал ему охранную грамоту и закрепил за ним первое место в современной русской поэзии – в большом отрыве от остальных.

В отрыв Бродский пошел с конца 60-х: «За мною не дует» – его собственные слова. Он опередил не только поэтов, но и читателей, которым было за ним не угнаться. Отсюда отрицание его стиха многими завидующими питерцами и почти всеми, за редкими исключениями – Игорь Губерман, Борис Слуцкий, Женя Евтушенко, Юнна Мориц, Андрей Сергеев – москвичами. Напомню о его провальных чтениях в Москве – на поэтическом вечере в МГУ, куда его пригласил Женя Евтушенко (помимо них, выступали Белла и Булат), на переводческой секции в ЦДЛ и в ФБОНЕе (Фундаментальной библиотеке общественных наук). Помню, когда мы переехали в Москву, окно в окно с Фазилом Искандером, Жека, наш продвинутый сын, воспитанный на стихах Бродского и хорошо с ним лично знакомый, объяснял Фазилю построчно «Колыбельную Трескового мыса» – включая строчки «Когда я открыл глаза, север был там, где у пчелки жало», на которых застрял адепт классической традиции, пусть и лучший из ентушенок.

Я признал ВР (почему не воспользоваться упомянутой аббревиатурой еще раз?) раньше других – еще в Питере, с первой с ним встречи. Негоже знатоку поэтики и поэзии Бродского курить ему фимиам. Заранее предупреждаю читателей, для которых китч на первом месте. Не моего ума дело.

Хотя на ином уровне понимания мои предыдущие книги о Бродском были востребованы и восприняты вровень с авторским замыслом. «Спасибо Вам за Бродского! – писала

мне московский редактор Таня Варламова из “РИПОЛ классик”. – Мне он никогда не был близок, а теперь – это просто какое-то озарение: живу только им». Критик – опять-таки московский – написавший не одну, а две разные, но обе весьма позитивные и лестные автору рецензии на мою запретную книгу о Бродском «Post mortem», точно и тонко ее определил: «Я еще не читал книги, в которой Бродский был бы показан с такой любовью и беспощадностью».

Вот откуда я содрал посвящение этой книги – «Иосифу Бродскому – с любовью и беспощадностью»: спасибо, Павел Басинский! Наконец, заголовок газетного материала про ту мою книгу, который был напечатан по обе стороны Атлантики и по обе стороны Америки – в Москве, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке: «Вровень с Бродским». Надеюсь – заменим это кокетливо-скромное слово на «уверен» – уверен, что эта моя новая книга не только вровень с Бродским, но и вровень с двумя моими предыдущими – «Три еврея» и «Post mortem», а те, помимо отдельных изданий, вышли под одной обложкой, и на ней значилось: «Два шедевра о Бродском». Без лишней скромности скажу, что эта книга – мой третий шедевр. Не только эту, каждую книгу пишу, как последнюю, а в этой выложился весь, ничего не оставил за душой, разве что на самом доньшке. Пусть и подустал малость. А что, если в самом деле это моя последняя книга? Я скромн, когда говорю о себе, но горд, когда себя сравниваю. Ссылка на маркиза де Кюстина не обязательна – беру его себе в соавторы.

Зато ссылка на моего героя – позарез. На его эссе об Одене «Поклониться тени»:

На что уповаю – что не снижу уровень его рассуждений, планку его анализа. Самое большее, что можно сделать для того, кто лучше нас, – продолжать в его духе. В этом, полагаю, суть всех цивилизаций.

Это что касается теории, но как достичь на практике? Путем перевоплощения? По системе Станиславского? «Я – это он», – настаивал Бродский на тождестве субъекта и объекта, а в «Письме Горацию»: «Ты – это я». Не знаю, что это напоминает читателю, мне – флюберовский принцип «Эмма Бовари – это я». Это когда приятель застал Флобера умирающим – он только что написал, как отравилась его непутевая героиня. Вот и я говорю: «Бродский – это я!». В том смысле, что писал эту книгу, равняясь на его лучшие стихи, да?

Нет и нет! Равняюсь на самого Бродского, каким я его знал и каким любил. А знал с питерских времен, общался часто и тесно: у него в «берлоге» в доме Мурузи на Пестеля и у нас на 2-й Красноармейской на наших днях рождения и по другим поводам, а то и просто так, без всякого повода, у общих знакомых и друзей, в больницах на Охте и в Сест роречке, где он репетировал свою будущую смерть и попрекнул меня, что я прихожу к нему только, когда ему плохо, а уж сколько мы с ним бродили по нашему любимому-нелюбимому умышленному городу – немерено!

Вот одна довольно значимая и знаковая встреча весной 71-го в Доме творчества в Комарово, где я «творил», а точнее строчил свою книгу о болдинском Пушкине, которую в следующем году защитил как кандидатскую диссертацию. Одна из шести глав в этой книге посвящена скрытым связям Пушкина с йенскими романтиками и Шеллингом, их теоретическим вождем, – в противоположность самоочевидным и к 30-му году исчерпанным французским связям. ИБ слушал жадно, поглощая новую информацию, но, когда зашла речь о болдинских пьесах, ошибочно именуемых «маленькими трагедиями», самым решительным образом заявил, что все это от лукавого, просто Пушкину было никак не остановиться – все четыре пьесы написаны на инерции белого стиха. Я сказал, что это немыслимое упрощение. «А немецкие связи Пушкина – натяжка», – огрызнулся ИБ, но, полистав «Бруно» Шеллинга (издание 1908 года), попросил до вечера. Книжка небольшая, но я был удивлен, когда к вечеру, уезжая в Ленинград, он действительно ее вернул:

– Жаль, что немчура. В остальном – приемлем.

Я не сразу понял, что читатель ИБ никакой, о чем спустя пару лет написал в «Трех евреях». ИБ схватывал содержание на лету, с первых двадцати – тридцати страниц, его редко хватало до середины, а целиком прочел, думаю, считанные книги (если прочел). Не читатель, а улавливатель смысла. *Sapienti sat* – адекватная формула ИБ как читателя. Да и как слушателя. Недели две спустя, уже в Л-де, я убедился, что Шеллинг им освоен – на нужном ему уровне, ни больше ни меньше. Книгоглотатель, потребитель мировой культуры, улавливатель смысла, он был похож на кота, который в разнотравье выбирает именно ту траву, которая в данный момент позарез его организму. У Шеллинга, как выяснилось, ИБ обнаружил две такие «травки»: настойчивое противопоставление чувства рассудку и определение свободы как испытания человека, а мой любимый у Шеллинга афоризм – «В человеке природа снимает с себя ответственность и перекладывает ее на плечи *homo sapiens*» – повторил вслед за мной с явным удовольствием, запоминая. Я тогда носился с Шеллингом и навязывал его всем знакомым, но один только ИБ купился.

Не считая Пушкина, который купился на самого Шеллинга – согласно моей гипотезе.

Кто в диссертации своей
Нам доказать хотел, что Пушкин —
Шеллингианец? Кто злодей?..

– писал Саша Кушнер в своем стихотворении «К портрету В.И.С.» – то есть к моему портрету.

Само собой, не один Бродский, но Бродский в большей мере – в разы! – чем кто-либо другой повлиял на судьбу двух супругов-писателей, которые вломились в литературу как сольными, так и соавторскими опусами. Сначала – в России – как критики-эссеисты, потом – в Америке, где состоялись как политологи, публицисты, прозаики и мемуаристы. Да, именно на судьбу, а не токмо на наши сочинения, где он стержневой фигурант – «Два Бродских», «Три еврея», «Бродский – там и здесь», «Отщепенство», «Post mortem», «Посмеемся над Бродским», «Закон обратной связи», «Буффонада Иосифа Бродского», «Апофеоз одиночества». Я ничего не пропустил? (См. фотоколлаж среди иллюстраций и избранную библиографию в конце книги.) Отчасти, но по большей части это связано с топографией. Живимы в Москве, зная и любя его стихи, как редко там кто, будь даже его фанатами, но не под гипнозом этого во всех отношениях незаурядного, редкостного, необычного и своеобразного человека. Мало читать его стихи, надо было слушать их в его шаманско-канторском исполнении. Надо было видеть и слышать его, дружить с ним, любить его.

Да, род влюбленности, если хотите. Само присутствие в нашей среде человека, отмеченного таким обалденным, искрометным, штучным талантом, повышало планку, которую мы сами устанавливали перед собой. Не для того, чтобы сравняться с гением, что невозможно по определению, но чтобы жить и писать согласно его инстинктам, принципам и критериями. Из которых главный – величие замысла. Ахматову поразило это определение Бродского. Пусть он и позаимствовал его у своих предшественников в мировой литературе. У того же, например, Фолкнера, который свой великий роман «Шум и ярость» называл «моим самым прекрасным, самым блистательным поражением». И разъяснял, что имеет в виду: «Лучшее в моем представлении – это поражение. Попытаться сделать то, чего сделать не можешь, даже надеяться не можешь, что получится, и все-таки попытаться. Вот это и есть для меня успех».

В своих лучших книгах, эту включая, автор идет аналогичным путем, ставя перед собой задачи, которые ему явно не по плечу. И это естественно: равняться на великих, а не на литературных середнячков. Иаков потерпел поражение и на всю жизнь остался хром, но это

было поражение в борьбе с Богом. Тем более надо соответствовать избранному прототипу. Как Бродский равнялся на Овидия, на Баратынского, на Цветаеву, на Одена: ты – это я, я – это он. Вот именно.

Судима ли литература на уровне замысла – другой вопрос. Чем замысел ничтожнее, тем легче достигнуть совершенства. Соответственно – наоборот. Провалы внутри великих замыслов неизбежны: «Дон Кихот», «Братья Карамазовы», «Война и мир», «Моби Дик», «Улисс», «В поисках утраченного времени» – произведения отнюдь не совершенные. У того же Бродского далек от совершенства его, может быть, самый великий по замыслу стиховой диалог «Горбунов и Горчаков». Ну и что?

Влияние Иосифа Бродского на Елену Клепикову и Владимира Соловьева было настолько всеобъемлющим, тотальным, гипнотическим, судьбоносным, что это даже не влияние, а – эффект Бродского. Нет, конечно, не «наше всё» и не Вифлеемская звезда, но жизненные и творческие ориентиры, которые он задавал, «не позволяя душе лениться» (привет Заболоцкому). То есть помог нам, его младшим друзьям, сориентироваться в окрестном мире. С его отъездом – именно благодаря его отсутствию, которое есть присутствие – этот эффект усилился в разы.

Само собой, этот эффект Бродского мог иметь негативные следствия и последствия: на кого – как. В качестве негатива Бродского воспринимали, завидуя ему, иные русские поэты, которым он кошмарил жизнь. См. помещенные в этой книге тексты-пародии «Поэт и муха» и «Живая собака». Однако профессиональной болезнью эффект Бродского не ограничивался. Я знавал у нас в Нью-Йорке москвича, которому – так он сам считал – «повезло» родиться Иосифом (оба в честь Сталина) да еще ровесником – год в год! – Бродского, и он, сам человек разнообразно одаренный, близко к сердцу принимал успехи своего тезки и всячески их отрицал, как незаслуженные. В итоге этот феномен имел трагические последствия для «другого Иосифа», и я не мог удержаться и сочинил для этой книги даже не одну, а две вариативные истории: «Перед Богом – не прав» и «На два дома», которые читатель найдет под общей рубрикой «Казус Жозефа».

С эффектом Бродского напрямую связаны драйв, структура и состав этой книги. Можно и так сказать: симметричный ответ на вызов Бродского. Сошлюсь еще раз на мою предыдущую о нем книгу – диптих-складень «Два шедевра о Бродском». Потому как многие главы переключались в новую книгу. «Три еврея» – исповедального и покаянного жанра, и портрет Бродского дан в рамках моего автопортрета: из трех евреев сюжетно я – главный герой. Недаром на обложке «захаровского» издания мой портрет, а в глазах у меня отражаются антагонисты: Бродский и Кушнер. Не говоря уже, что в том моем мемуарном романе (или романном мемуаре?) дан питерский Бродский – городской сумасшедший, затравленный зверь, поэтический гений. В «Post mortem» – нью-йоркский, карьерный Бродский, с ослабленным инстинктом интеллектуального самосохранения, с редкими прорывами в поэзии. Не один я, к счастью, это заметил. Вот отзывы двух востребованных российских литераторов Орлуши и Дмитрия Быкова, пусть даже они чересчур категоричны, безапелляционны, а в частности субъективны:

«...Я бы отдал все, чтобы меня не помнили, как Бродского. Потому что он последние 25 лет своей жизни писал полную херню. Попробуй почитать “Историю двадцатого века”, где есть стихотворение на каждый год – читай не как Бродского, а просто как текст. Более занудной и никому не нужной поебени просто нет. И так же со всем, что писал Бродский после того, как уехал из Советского Союза. Были хорошие стихи, но было и много того, что написано для иностранцев, для какого-то заработка».

«Я не собираюсь перепевать здесь расхожие банальности о том, что Бродский „холоден“, „однообразен“, „бесчеловечен“... В огромном корпусе сочинений Бродского поразительно мало живых текстов... Едва ли сегодняшний читатель без усилия дочитает „Шествие“, „Прощайте, мадемуазель Вероника“ или „Письмо в бутылке“ – хотя, несомненно, он не сможет не оценить „Часть речи“, „Двадцать сонетов к Марии Стюарт“ или „Разговор с небожителем“: лучшие тексты ещё живого, ещё не окаменевшего Бродского, вопль живой души, чувствующей свое окостенение, оледенение, умирание».

Про все это я подробно пишу в моем эссе «Два Бродских», противопоставляя одного Бродского другому Бродскому. Этого, однако, мне показалось недостаточно. Мне было что еще сказать о нем, но в ином жанре – фикшн. Так возникла моя запретная книга «Post mortem». Лот художества берет глубже, чем любой другой, включая дневниково-мемуарный, а потому я избрал романский жанр, пусть «Post mortem» – роман на документальной основе: докурман. Да, даль свободного романа. Разрыв шаблона, если хотите. Или как Юнна Мориц круто писала в прежние добрые – до деграданса – времена: «Сломать стереотип и предпочесть сумбур».

Вот из интервью Нади Кожевниковой со мной по поводу моей «запретной», но теперь я бы сказал запретно-заветной, обетованной книги о Бродском:

– Как критик-аналитик, с отменным вкусом, эрудит, широкого, разнопланового диапазона, подскажите мне и нашим читателям аналоги, когда автор, взяв за основу своего повествования конкретное историческое лицо, в данном случае поэта, себя в стихах, в прозе, в эссе раскрывшего, рискует домысливать в свободном, так сказать, полёте, нечто, не только никак, нигде, фактически не обоснованное, а изначально заявленное как домысел? Каков был тут ваш личный импульс? Обнаружить сокровище в вашем герое? Перевоплотиться, слиться с ним? Или же... Ведь возможна догадка, что Соловьёву Бродский понадобился для других вовсе целей? Зная вашу, Володя, жёсткую трезвость и в оценке других, и самого себя, хотелось бы получить соответствующие комментарии к замыслу вашего романа.

– Ну, примеров множество. Взять моего любимого Тынянова, который говорил, что начинается там, где кончается документ. Именно на стыке документа, но продолжая его, написаны три его замечательных романа – «Пушкин», «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара» о Грибоедове. Но зачем далеко ходить? Сошлюсь на моего героя. В стихотворении «Посвящается Ялте» содержится ответ на ваш вопрос:

...да простит меня
читатель добрый, если кое-где
прибавлю к правде элемент Искусства,
которое, в конечном счете, есть
основа всех событий (хоть искусство
писателя не есть Искусство жизни,
а лишь его подобье).

С другой стороны, работая над книгой о Бродском, я перечитал все его стихи и статьи, заглянул в воспоминания о нем и в собственную память, прочел больше половины из данных им двух сотен интервью. Однако обращение к художке объясняется еще тем, что бродсковедение – мемуаристика и стиховедение – полностью исчерпало себя, обречено на повтор и говорильню. Роман, пусть даже близкий к реальности, предоставляет автору неограниченные возможности. У меня уже был однажды такой опыт. Я написал вполне

ортодоксальный мемуар «Довлатов на автоответчике», который многократно печатался по обе стороны океана, входил в мои и наши с Леной Клепиковой книжки, но, чувствуя его недостаточность и недоговоренность, сочинил добавочно повесть «Призрак, кусающий себе локти», где дал человека, похожего судьбой и характером на Довлатова, но не один к одному, под другим именем, с рядом подмен. «Запретная книга» о Бродском значительно ближе к реальному герою.

Вот почему, кстати, давая в этой новой книге главы из той прежней, я решил – и решился! – заменить однобуквенный, одним инициалом, псевдоним (секрет Полишинеля!) на полное имя героя с оговоркой, что мой Бродский – все равно что Кутузов либо оба императора – Наполеон и Александр – в «Войне и мире». Ссылка на графа Толстого избавляет меня от необходимости дальнейших объяснений, пояснений и экскузов. Хотя высказывания героя не всегда буквальные, но цитатны в широком и даже стилистическом смысле, то есть подтверждены письменно или устно зафиксированными источниками. Отсюда обширный свод автокомментариев в предыдущих «риполовских» изданиях 2006 и 2007 гг. – полторы сотни страниц! – который в этой книге я вынужденно свожу к минимуму. Увы. Потому «увы», что приведенные там обильные цитаты подтверждают пусть не фотографические, но эвристические, аутентичные черты романного персонажа по имени «Бродский». В том же соотношении.

Парочка примеров для наглядя. В главе «Иосиф в Египте» рассказывается про квазимемуары о Бродском, из которых самые фантазийные принадлежат Кушнеру-Скушнеру: что ИБ будто бы носил его фотографию в бумажнике, и та вся истерлась – так часто Бродский ее вынимал, чтобы еще раз глянуть в любимое лицо; даря транзистор «Сони», пообещал: «Я скоро умру – и все будет твое»; на поздравление с Нобелькой ответил: «Да! Только в стихах – чернуха. И чем дальше, тем черней»; жаловался, что не с кем перекинуться словом, а тем более о стихах – только с ним, и проч. Невероятно, да? На самом деле, почти дословный пересказ текстов этого лжевспоминальщика: «Показал мне, вынув из бумажника, затертую фотографию: это меня и Лену сфотографировал у нас дома кто-то из американцев, и она попала к нему. Купил мне транзисторный приемник „Sony“ – „с премии“. Когда я благодарил за подарок, вдруг сказал: „Я скоро умру – и все будет твое“. Я почувствовал, что он очень одинок. Жаловался, что о стихах ему поговорить не с кем... „Не печалься, ты что! Ты же получил премию!“ – „Да! Только в стихах чернуха. И чем дальше, тем черней“».

Либо такой вот мой абзац, смутивший иных моих рецензентов:

Жаловался на проблемы с эрекцией и спермой. Больше, правда, прозой – устной и письменной, чем в стихах. Странно: тебя травмировала импотенция, а не безлюбость. Ты разучился влюбляться. А если это связано: Эрос с Приапом, импотенция с невлюбчивостью?

Первая фраза этого абзаца напрямую связана с личными признаниями Бродского, который постоянно жалился, письменно и устно, на сексуальные проблемы. К примеру, см. его литании в «Письме Горацию»: «Хотя я должен признать, что даже в те стародавние дни, когда со спермой дело обстояло куда лучше...» Там же он описывает свой сон, а во сне «самую энергичную встречу такого рода, в которой я когда-либо участвовал, будь то в реальной жизни или в моем воображении... На меня произвела большое впечатление моя стойкость, равно как и мое вожеление». Странно писать так о себе, сравнивая коитус во сне с предыдущими – как во сне, так и наяву. Одна знакомая, у которой с ИБ были «встречи такого рода», вспоминает их короткость – обычно не дотягивал до среднестатистических пяти минут – кончал раньше или бросал на полпути, отшучиваясь с помощью Пастернака:

«Я вздрагивал. Я загорался и гас...». Одной особе, с которой у него были довольно длительные отношения, признался, что «всё досталось другой», но она восприняла это за

экскуз. В «Двух Бродских» рассказывается об американке Джейн Нокс (впервые называю здесь ее полное имя), близкой с ИБ по Питеру, но здесь он сказал ей, что стал импотентом после операции на сердце. Опять отговорка? Терпеть не мог сексуально требовательных женщин. См. его мизогинистский очерк «После путешествия, или Посвящается позвоночнику», где именует свою постельную партнершу «моя шведская вещь по имени Улла», «вонючий хорек» и признается, что «чуть было ей не врезал», но при отсутствии психологических мотивировок звучит, выражаясь его же словами, как полная лажа, и вызывает недоумение. Это к тому, что литературный персонаж по имени «Бродский» есть результат внимательного вчитывания и вслушивания в стихи и высказывания ИБ и пристального вглядывания в его фигуру, а та дополняет, перекрывает, снижает, объясняет его поэзо-прозу. Иногда от обратного. Как эти образы стыкуются друг с другом? И должны ли они стыковаться? Не знаю.

Не знаю также, всегда ли это хорошо для художества. Оригинал, с которого списан ИБ, очевиден, но это скорее все-таки – уточним – прообраз, чем прототип. Одни факты даже для создания докурмана недостаточны. Страх и страсть, ревность и нежность, похоть и бессилие испытаны автором, а потом уже героем и в конце концов читателем, то есть понятны на сопереживательном уровне. В противном случае, если писать только с натуры, а не с себя, литературный персонаж мертворожден. Даже в случае докурмана – с фактами, конфискованными из самой что ни на есть реальности. Тавтология исключена: роман – не зеркало, литературный герой в той же мере равен автору, что и прототипу, несмотря на цитаты и компиляции.

Иными словами, литературный персонаж живет полноценной самостийной жизнью и не сводим к реальному человеку в штанах или без оных, а разве что сопоставим с ним, но на уровне читательских догадок либо – как в первых полных изданиях «Post mortem» – с помощью свода автокомментариев, вынесенных за пределы романного корпуса.

Цель этих автокомментов и состояла в анатомическом (по возможности) расчленении созданного образа – где документ, пусть и смещенный художественно (домысел), а где опять-таки художественная, но отсебятина, то есть, эвфемистически выражаясь, художественный вымысел. Собственно, вся эта отсебятина и выводит роман из линейных био в высший все-таки регистр художества, а ему присуще скорее искажать, чем воспроизводить реальность. Тем более в таком компилятивном жанре, как биография, пародией на которую и является означенный опус.

Скажем, Гертруда Стайн на фотках или она же в портрете Пикассо – кто из них ближе к реалу?

– Непохожа, – сказала художнику бабушка мирового модернизма.

– Будешь похожа, – ответил Пабло.

Что и произошло в скором времени – и по сю пору. Вот на что уповает автор этой юбилейной и итоговой книги о Бродском: что его портрет, написанный мною с натуры, будет похож на поэта не только больше, чем памятники ему, сработанные в бронзе, мраморе и слове, но и чем его собственный автопортрет в стихах и прозе. Можно ли ему верить? Даже в его лучших текстах? Не говоря про худшие. Точнее: насколько можно верить поэту? Что несомненно: есть дистанция между автором и автопортретом. Тем более словесный автопортрет: смесь покаяний, самооправданий и умолчаний. Вот именно, поэзия и правда.

То есть правда и вымысел. Правда и ложь. Поэзия – и ложь.

Укоряю Бродского во лжи? Ни в коем разе. Он сам в ней признавался и оправдывал других и себя:

Замечательный, кстати сказать, стилист Герцен. Только врет очень много... Федор Михайлович Достоевский тоже был, между прочим, совершенно чудовищный лжец, цар-

ство ему небесное... Вообще-то автору так и следует вести себя. Тут я автора несколько не обвиняю.

Тут он всегда прав. И он даже не лжец. В тех условиях, в какие автор поставлен обществом, он может себе это позволить. Непонятно еще, почему он не крадет, не убивает...

Он же:

Это была почти ложь, но так оно выглядело красивее, а к тому времени я научился ценить ложь именно за это „почти“, которое заостряет контуры правды: в самом деле, правда кончается там, где начинается ложь. Вот чему научился мальчик, и эта наука оказалась полезней алгебры.

На сюжет самомифологизации в автографе «Post mortem» была отдельная глава «Поэзия и ложь», в книге по ряду причин отсутствующая. Перевертыш названия книги Гёте, сама эта ампутированная глава – дополнение к ахматовскому «Какую биографию делают нашему рыжему!» Объект является одновременно субъектом и делает – точнее, доделывает – свою биографию сам: от демонстративного ухода из школы, из которой был изгнан за классическую неуспеваемость (а до этого остался на второй год из-за английского!), до, наоборот, изгнания из страны, из которой сам мечтал выбраться всеми правдами и неправдами, и что только не замыслил в этом направлении – от угона самолета до женитьбы на влюбленной в него по уши американке. Многие из этих сюжетов мелькают в этой книге, но сконцентрированные в одной главе выглядели бы телегой, компрой, а потому решено было с публикацией этой главы повременить. Тем более, опять-таки перефразируя Ахматову, если стихи растут из сора, не ведая стыда, то и сами поэты произрастают не на мавританских газончиках. Концепция опущенной главы: как художник попадает в сеть сотворенного о нем – при его участии – мифа; как независимый становится зависим, а зависеть от царя, зависеть от народа или зависеть от самого себя (позволим себе дополнить родоначальника) – не все ли нам равно...

В одной из сносок к этой удаленной главе приведены слова поэта, скандалиста и эксгибициониста ККК – Константина Константиновича Кузьминского – двойного моего, Барышникова, Бродского, Шемякина земляка по Питеру и Нью-Йорку. В просторном интервью Александру Гранту в нью-йоркской газете «Новое русское слово» ККК не однажды возвращается к теме самомифологизации своих выбившихся в люди питерских знакомцев:

История создается людьми, а люди брехливы, лживы и спекулятивны по природе. При чем история меняется, переписывается на наших глазах... Я спрашиваю: можно ли верить историям Шемякина или Бродского? Каждый создает свою легенду. Как говорил мой учитель Давид Яковлевич Дар: нет поэта – нет легенды. То есть, поэт сам создает о себе легенду... Гёте в свое время совершил фальшивое самоубийство в «Юном Вертере», чтобы стать Фаустом, изменить полностью ментальность. Так и Бродский. Поэты не кончаются, поэты умирают. Вот эта трансформация из самоубийцы Вертера в мудреца Фауста – она происходит вне зависимости от воли поэта. И Бродский стал мудрым. Занудным, но мудрым.

Это не противоречит высказываниям самого Бродского: «A poet is a hero of his own myth». Первый камень, а может и не один, в бродсковедение заложил сам поэт: Бродский был первым бродсковедом, бродскоедом и бродскописцем, задав тон и творя свой self-myth для современников и потомков. А потом уже пошло-поехало, пока бродсковедение не было институтизировано и не превратилось в своего рода индустрию, в опровержение которой и написана эта книга: с любовью и беспощадностью. А как иначе?

В отличие от «Трех евреев», из которых в этой книге приведены только избранные главы, где Бродский дан в полный рост, а не мелькает время от времени, как маргинальный персонаж, из «Post mortem» даны все. Включая те, в которых фигурирует Довлатов и которые вошли в предыдущую, прошлогоднюю книгу нашего с Леной Клепиковой портретного сериала «Фрагменты великой судьбы», целиком Сереже посвященную.

В магнитное поле этого юбилейного издания втянуты не только сюжетно напрямую с Бродским связанные произведения, типа пародиишифровки, легко, впрочем, расшифровываемой, «Живая собака», но и опусы, им вдохновленные, насквозь пропитанные заковыченными и расковыченными, без ссылки, цитатами из него и объединенные в жанровый отсек «Посвящается ИБ». Фактически, проза на стихи Бродского. Будь то упомянутые истории про реального и узнаваемого тезку Бродского, который страдал из-за него «комплексом Иосифа» и умер – дважды! – по этой причине.

Или «Посмеемся над Бродским!» Елены Клепиковой – отрывок из ее романа «Отсрочка казни». «Мой двойник Владимир Соловьев» – на традиционную для петербургского направления русской литературы тему двойничества, актуальную для Бродского.

Прощальный сказ «Упущенный шанс», в общем своем некрофильском настрое совпадающий один в один с настроениями предсмертной лирики Бродского, а местоимение «Я» заменено на местоимение «Он» – опятьтаки по принципу ИБ, который выдавал себя за другого, потому как некоторые признания сподручнее и комфортнее поручить своему гипотетическому alter ego, да хоть фрейдовскому super-ego, пусть и «узнаю тебя, Маска». Наконец, двухголосая история «Одноклассница», пусть написанная по внутреннему импульсу, но с его подсказа, ревность была драйвом его любовной лирики, а непосредственным сюжетным толчком послужили две строчки из посвященного нам с Леной Клепиковой дарственного стиха, а потому поставлены к той истории одним из эпиграфов:

Покуда дети о глаголе,
Вы думали о браке в школе.

Оставим в стороне гипотетические, включая непечатные, варианты взамен слова «брак», которое не в меру догадливые читатели полагают эвфемизмом, а свои догадки основывают на звукописи и аллитерациях. К слову, все замены пропущенных букв на звездочки в лексических ненормативах словах принадлежат редактору, а не автору, который пишет по правилам русского языка, а не по новопринятым законам моего любезного отечества.

Наша с Леной дружба с Осей была на равных, без никакого пиетета, улица с двусторонним движением. Я встречался с ним чаще, чем Лена, зато с Леной их связывали не только дружеские, но и лирические отношения. Недаром в классном фильме «Остров по имени Бродский» Сергея Бравермана на Первом канале, где мы с ней главные рассказчики, Лена названа в титрах подружкой юности поэта, хотя по возрасту скорее все-таки молодости. Мы были младшими современниками наших друзей – Бориса Абрамовича Слуцкого, Анатолия Васильевича Эфроса, Булата, Фазиля, Юнны, даже Бродского и Довлатова, хотя возрастная разница с этими нашими двойными – по Питеру и Нью-Йорку – земляками всего ничего. Ося относился к нам с Леной, как старший к младшим – дружески, по-братски, заботливо, ласково, нежно, с оттенком покровительства, самому себе на удивление. Приходил на помощь в «трудные» минуты, когда каждый из нас по отдельности слегка нажирался: меня заботливо уложил на диванчик в своей «берлоге», на всякий случай всунув в руки тазик, который не понадобился, а Лену вознес на руках на наш крутой четвертый этаж после того, как мы приводили ее в чувство на февральском снегу.

– Прикольное название для твоего мемуара: «Он носил меня на руках», – подсказываю я своему соавтору и по совместительству жене. – Пусть только один раз, хотя кто знает, «подруга юности поэта»!

Не в тот ли это случилось совокупный день рождения, на который он преподнес нам заздравный стих?

Позвольте, Клепикова Лена,
Пред Вами преклонить колена.
Позвольте преклонить их снова
Пред Вами, Соловьев и Вова.

Моя хмельная голова
Вам хочет ртом сказать слова.

Честно, будучи влюблены в Бродского, мы с Леной купались в этой его старшебратской любви, вызывая зависть и раздражение кой у кого из нашей питерской мишпухи, имена опускаю, что мне теперь до этих окололитературных безобразников!

Упреки в инфантильности отвергаю с порога. Только тем и живу, что верен своим внешним водам, пусть они давно уже отошли. «И пока не поставят на место, будем детство свое продолжать» – привет, поэтка! А поставить на место меня может только смерть, думать о которой бессмысленно, ибо смерть не является событием жизни (Витгенштейн). Иное дело: где прервется моя колея? Для меня деревья как были большими, так и остались: навсегда, до последнего вздоха. Или выдоха? Уж коли пошли стихи, вот стихотворение про меня Бориса Слуцкого, которого, как поэта, я ставлю вровень с Бродским:

У всех мальчишек круглые лица.
Они вытягиваются с годами.
Луна становится лунной орбитой.

У всех мальчишек жесткие души.
Они размягчаются с годами.
Яблоко становится печеным
или мороженым, или тертым.

У всех мальчишек огромные планы.
Они сокращаются с годами.
У кого намного.
У кого немного.
У самых счастливых ни на йоту.

Ни на йоту! Тем и живу. Счастливых в мире Несчастливых. Зачем быть жизнедом, когда сама жизнь ест нас поедом? Зачем кошмарить реал, когда он и так кошмарен, стоит только задуматься? Зачем окошмаривать кошмар? Зачем помогать смерти? Даже если на кладбище вместо крестов я вижу плюсы. Или как в том анекдоте про человека в одной галоше: «Почему потерял? Нашел!» Да хоть по принципу Абрама из другого анекдота: «Абрам, ты счастлив?» – «А шо делать?!» Но и по принципу Владимира Соловьева, а он, то есть я – самый-самый счастливый человек на этом свете. Не знаю, как на том. Поживем – увидим. Или не увидим. В любом случае, никаких коммуникаций между тем светом и этим,

увы. В чем убежден: со смертью жизнь не кончается. Даром, что ли, я назвал предыдущую книгу о Бродском «Post mortem»?

Я прожил долгую литературную – точнее, метафизическую – жизнь, которая по естественным причинам клонится к концу вместе с жизнью физической, и у меня уже цейтнот времени, чтобы перечислять адресованные мне упреки, а тем более ответствовать, да на каждый чих и не наздравствуешься. Но коли я – с помощью издателя, читателя и с божьей помощью – продолжаю авторский сериал «Фрагменты великой судьбы» (название более других подходящее к фигуранту этой книги), то, может быть, учтем замечания критиков к предыдущей, про Довлатова? Отзывы в основном благожелательные и даже восторженные, а погромно-поклепные не в счет, хотя, как изрек Ницше, всё, что нас не убивает, делает сильнее, а «меня только равный убьет», но равных окрест не вижу. Однако и в положительных встречались замечания, которые автор может учесть, а может не учитывать – святое авторское право. Я иду иным путем и, наперекор поговорке, считаю, что третье дано.

Что говорить, я много накосячил в жизни, но если бы мне дано было заново ее прожить, то тем же манером, ничего в ней не меняя. Касается это и моего участия в русской словесности.

Являются ли наши недостатки продолжением наших достоинств? И *vice versa*? Что надобно, следуя этому клишированному постулату, делать автору? Обратить недостатки в достоинства? Круче: недостатки – в принципы! Ну, на манер импрессионистов, которые ругачую кликуху сочли наиболее адекватной совершенному ими революционному перевороту в искусстве и присвоили в качестве своего имени, под коим они с тех пор и известны. Я мог бы, конечно, опустить прозвища, которыми награждали меня зоилы, – возмутитель спокойствия, литературный провокатор, м-р Скандал, *enfant terrible* русской литературы и проч. – ни от одного не отрекшися, все беру на вооружение: да, да, да, да и еще много раз «да». Я бы, правда, заменил все эти слова на другое: иконоклаг, иконоборец, но поневоле. Как верно заметил московский рецензент «Трех евреев», изданы они «Захаровым» (4-е и не последнее издание) ради скандала, а написаны автором по иной причине, по другому импульсу. В том-то и дело, что скандалы и провокации, которые автор всячески приветствует, ибо они есть свидетельство востребованности его резонансных книг, – это побочные явления нестандартного мышления и чувствования, пусть даже мозги автора набекрень и наперекосяк, зато не про меня сказано любимым поэтом Бродского:

Глас, пошлый глас, вещатель общих дум...

Эта книга – challenge, вызов не только вещателям общих дум, но и самому себе, собственным клише и стереотипам.

Коснусь только одного из благожелательных упреков Владимиру Соловьеву в связи с книгой о Довлатове – что в ней слишком много Владимира Соловьева.

Так и должно быть, так будет и впредь – в том числе в этой книге о Бродском.

Более тонкие и утонченные читатели ставили это «довлатовской» книге в плюс. В конце прошлого года, под Рождество (пусть католическое, а все равно праздник!), у нас с Леной Клепиковой было несколько творческих вечеров-презентаций в Кремниевой долине, репортаж с одного из них в популярном «Silicon Valley Voice» назывался «О Довлатове, о времени и о себе». Так и есть. Эта книга – как предыдущая и как последующие, е.б.ж. – авторская. Как есть авторское кино, скажем.

Вот ведь даже мой критик – чем не иллюстрация к максиме про достоинства и недостатки, но в инверсии-рокировке? – с удивлением замечает: «Да, герой до обидного часто уходит на обочину, но противоположной стороной этого становится изображение среды и реставрация атмосферы, в которой он жил. Как у Пастернака: „Я говорю про ту среду, с

которой я хотел сойти со сцены и сойду“. Уход оборачивается приходом, плоское изображение – многомерным, или, как его называет автор, голографическим».

Так и есть.

Помимо означенных причин такого личного, авторского, субъективного, мемуарного похода к моим героям, укажу также на биографическую, которая, вероятно, важнее других.

Я бы сказал, что не только нам подфартило с нашими старшими современниками, но – опять-таки без лишней скромности – им повезло с нами: стали бы они иначе с нами знаться и якшаться на регулярной основе! Ну да, «взаимная склонность», как в старину говаривали. Самые старые из наших друзей – кирзятники: Дэзик Самойлов, Борис Абрамович Слуцкий, Александр Петрович Межиров, Булат Окуджава. От них сохранились в нашем архиве не только автографы на книгах, но и личные письма. К примеру, Булат, мало того, что каждую свою новую книгу и пластинку подписывал неизменно «с любовью», но слал нам благодарные письма из Москвы в Питер за наши статьи – так был тогда не избалован критикой: «Что касается меня, то я себе крайне понравился в вашем опусе. По-моему, вы несколько преувеличили мои заслуги, хотя, несомненно, что-то заслуженное во мне есть».

Другой «старик» Эфрос рутинно приглашал нас на свои спектакли, ждал отзыва и серчал, если я не сразу, тем же вечером, откликнулся, и звонил сам, а однажды прослезился, читая мою статью о нем. Несмотря на разницу в возрасте, с Фазилем мы были на «ты» – дружба наша прервалась, когда мы свалили из России, и возобновилась в период горбачевской оттепели, когда мы с Леной стали ездить в родные пенаты, а Фазиль – к нам в Америку. Сколько я про них всех написал рецензий, статей, воспоминаний – мало не покажется!

А уж о моих земляках-питерцах я писал и говорил первым: 1962-й – статья о Шемякине в ленинградской газете «Смена» – самая первая о нем! – о чем благодарный Миша не устает напоминать в своих книгах и интервью; 1967-й – вступительное слово на единственном творческом вечере Довлатова; 1969-й – эссе о Бродском (раньше всех!) под названием «Отщепенство», которое я пустил в самиздат, а позднее включил в «Трех евреев». Больше всего, наверное, я опубликовал статей про Сашу Кушнера – недаром он назвал меня в стихе «критик шелковый» – пока «критик шелковый» не раскусил (не без помощи Бродского – спасибо, Ося!) стилизаторский, вторичный, имитаторский, подложный характер его виршей: хороший поэт, но не настоящий. К тому же, в обслуге у государства: ливрейный еврей. При любых форс-мажорных обстоятельствах, даже когда государство отделялось от остатного мира и превращалось в необитаемый остров, а жизнь становилась все чудесатее и чудесатее: остров по имени Россия. Не говоря уже о его – означенного стихотворца – мозговом климаксе и стихоблудии. Вот почему я и обнулil его для себя, вычеркнул из жизни. Уж если брать крайности, предпочитаю поэтов плохих, но настоящих.

Помимо всего прочего, кто бы еще о всех наших прославленных знакомцах написал такие головокружительные многоракурсные портреты, как мы с Леной Клепиковой! Включая эту книгу. Шустрая пара, как назвал нас Солженицын за нашу статью о нем в американском журнале «Dissent». Из негатива – в позитив, в плюс, а не в минус: лучше быть шустрым, чем мертвым. Паче – живым мертвяком.

За Лену не скажу, но я был сторонним зрителем на трагическом празднике жизни, соглядатаем, кибитцером, вуайеристом чужих страстей, счастий и несчастий. Я жил не в параллельном, но в соприкосновенном, сопричастном мире, однако если и причастный происходящему, то отчужденно, остраненно, скорее все-таки по брехтовской методе, чем по системе Станиславского. Перевоплощаясь в своих героев, но не сливаясь с ними, оставаясь одновременно самим собой и глядя на них со стороны. С правом стороннего и критического взгляда на них. И на самого себя. Это, впрочем, давняя моя склонность, как писателя, отмеченная критикой еще в оценках «Трех евреев»: «О достоинствах романа Соловьева можно долго говорить, – писал московский критик. – Замечательное чувство ритма, способность

вовремя отскочить от персонажа и рассмотреть его в нескольких ракурсах, беспощадность к себе как к персонажу».

Самый яркий тому пример – образ Бродского в моих о нем книгах, включая эту: не тождество или отождествление, а раздвоение и совмещение в одном персонаже автора и героя. Если хотите, мифологический дибук: дух мертвеца – Иосифа Бродского, вселившийся в живого человека – Владимира Соловьева, дабы обрести облик и голос, но живой пока еще человек (я), елико возможно, изо всех сил сопротивляется, и эта система вживаний и откре- щиваний носит нервный и неравный, но взаимный характер и определяет главный драйв предлагаемой читателю книги.

Пусть контрабандой, но именно в эту щель, в эту вожаделенную щелку (пикантные ассо- ции на совести читателей, хотя почему нет?), в этот зазор между перевоплощением и отчуждением проникает автор и снабжает своего героя собственными заметами, идя борхе- совским путем лжеатрибуции. Хотя немного жаль делиться сокровенным и заветным с лите- ратурным персонажем. В художественном итоге – по нулям: я заимствую у Бродского, а мой «Бродский» заимствует у меня. Никакого плагиата. См. мои автокомменты к «Post mortem» в предыдущих изданиях, дабы отличить Горбунова (Бродский) от Горчакова (Соловьев). Или наоборот?

Как бы к этой книге отнесся ее герой – вопрос не только праздный, но и суетный.

Повторю: я пишу для живых, а не для мертвецов. Даже если они там почитывают время от времени, то отклика оттуда не дождешься: никакой связи между тамошним большинством и здешним меньшинством.

Младший современник своих друзей и врагов – или друзей, ставших врагами, такое тоже случалось, точнее, случилось однажды, а теперь, за давностью лет, в одном флаконе – я пережил их не потому, что позже родился, а потому, что смотрел на жизнь с птичьего полета, как будто уже тогда засел за тома воспоминаний, хотя первая мемуарная записная книжка была сочинена мною в одиннадцатилетнем возрасте и начиналась со слов: «Мальчик хотел быть, как все». Что мне, по счастью, не удалось.

Не для того ли мне поздняя зрелость,
Чтобы за сердце схватившись, оплакать...

А на что мне даны мои закатные, заемные годы? Чтобы рассказывать живым о мертве- цах? Пусть не от их имени, но их голосами, которые все еще звучат у меня в ушах, в мозгу, в памяти. Так и есть: я проснулся в гробу. Я хочу говорить не только как живой с живыми, но и как мертвый – с живыми. Мертвый – живым. Из двух восклицательных постулатов – «После нас хоть потоп!» и «Да здравствует мир без меня!» – я выбираю последний.

Старуха, под сто, до которых мне ни в жисть не дожить – да и зачем? не дай бог! – жалилась на очередном своем дне рождения на невыносимую тяжесть бытия – память:

– Мудрость! – живо откликнулась она на чей-то за нее тост. – Если б вы знали, сколько я совершила в жизни ошибок. Долголетие – это наказание их помнить. Я потому и оставлена, чтобы вспоминать и рассказывать.

Вот я и нашел психотерапевтический способ избавиться от памяти, а потому исписал тысячи страниц своими аналитическими воспоминаниями. Как и эти полтысячи про Брод- ского – вторая книга в авторском сериале «**Фрагменты великой судьбы**», который мы с Леной делаем в соавторстве, как предыдущую о Довлатове, либо сольно, как вот эту о Брод- ском, но все равно тесно сотрудничая: мне удалось-таки уболтать ее дать в книгу Владимира Соловьева несколько текстов Елены Клепиковой. Следующая книга – анонсирую заранее:

Быть Евгением Евтушенко. Ночной дозор. Групповой портрет на фоне России

Это будет портрет не только «кумира нации», но и всего шестидесятничества, коего он был самый знаменитый представитель. Включая остальных «евтушенок», его однокорытников по литературному цеху – Беллу, Юнну, Новеллу, обоих Андреев – Вознесенского и Тарковского, Фазиля, лучшего из «евтушенок» (минуя худшего из «евтушенок» Эрнста Неизвестного), Шукшина и Высоцкого, а заодно «старшеклассников» – того же Булата, к примеру, или Анатолия Эфроса. Потому и живу взаимы, чтобы стать Пименом – скорее, чем мемуаристом – и летописать мое время и тех главных его фигурантов, с которыми я тесно сошелся и про которых писал, когда нас еще не раскидало по белу свету, а большинство – на тот свет.

– Куда вы, меньшинство?

– К большинству.

Нет, юзерами и меркантилами никто из них, конечно, не был, ни в одном глазу, а дружили они с Клепиковой и Соловьевым за просто так: запросто. Как и мы с ними. Помню, как Женя Евтушенко носился с моей статьей «Дело о николаевской России» о Сухово-Кобылине в «Воплях» – не уверен, правда, что с тех пор он много что прочел из моих опусов: дружба у нас базировалась на личном общении, а не на чтении друг друга. С Юнной Мориц у нас целый том переписки – чудные письма, под стать ее лучшим стихам, большинство я опубликовал в моем романе с памятью «Записки скорпиона». Фазиль Искандер «благодарил Бога» (его слова), когда мы, с превеликими трудностями обменяв Ленинград на Москву, поселились в писательском кооперативе на Красноармейской улице в доме напротив, а прочитав за ночь, еще в рукописи, «Трех евреев», назвал их «замечательной книгой» – храню его записку до сих пор, хотя он просил ее уничтожить: такие были тогда огнеопасные времена! Довлатову дружба с нами скрасила его крутое одиночество последних лет жизни. Лучший поэт не только своего, но, может быть, нескольких поколений взад и вперед (Бродский тоже так считал), Борис Абрамович Слуцкий в Коктебеле носил на плечах Жеку, нашего сына-малолетку, а Лене покровительствовал, когда к ней липла всякая шушера отнюдь не с любовными намерениями – так, обычные провокаторы и стукачи. Всех перещеголял в любви к нам Саша Кушнер: «Дорогим друзьям Володе и Лене, без которых не представляю своей жизни, с любовью». Не говоря уже о частых с ним встречах и дружеских его посланиях в стихах. Попадались забавные, хоть им и далеко было до поздравительного нам шедевра Бродского. Чем тесней единенье, тем крошечней разрыв, сказал бы Бродский о моей дружбе с Кушнером, которой всегда дивился и ревновал. Это Бродский первым переврал его фамилию, а потом уже пошло гулять по свету (литературному) с его легкой руки: Кушнер.

Без Бродского наша жизнь – не только литературная – сложилась бы иначе. Но и мы сыграли кое-какую роль в его в жизни – отнюдь не эпизодическую. Доказательства не требуются, а свидетельства разбросаны по всей этой книге о нем. Я уж не говорю о таких мелочах, как то, что Лена Клепикова, редактор прозы в журнале «Аврора», пыталась устроить ему небольшой заработок, дав на внутреннюю рецензию рукопись из «поток», а я через своего приятеля Яшу Длуголенского организовал публикацию его стихов в газете для детей «Ленинские искры»: везет детям! Но вот эпизод, который долгие годы казался мне странным, загадочным, непонятным, пока я в конце концов, спустя многие годы, совсем недавно, не врубился. А дело было так.

Как-то я сказал ему, что его «Шествие» меня не очень впечатляет. «Меня – тоже», – мгновенно откликнулся Ося, который обгонял не только других поэтов, но и самого себя. Читатели еле поспевали за ним. Я тогда балдел от его новых стихов: «Я обнял эти плечи...», «Отказом от скорбного перечня...», «Anno Domini», «К Ликомеду, на Скирос», «Так долго вместе прожили...», «Подсвечник», «Империя – страна для дураков», «Письмо в бутылке»

– да мало ли! И тут вдруг Ося зовет меня в свою «берлогу» и под большим секретом вручает рукопись «Остановки в пустыне», чтобы я помог с составом. Несколько дней кряду, забросив все дела, корпел над его машинописью, делал заметки на полях, переставлял стихи. Потом мы с ним часами сидели, меня повело, я был в ударе, обсуждали чуть не каждый «стиш».

– Поработали на славу, – сказал Бродский в дверях, прощаясь.

Спустя какое-то время Ося приносит мне изданную в Нью-Йорке книгу, благодарит за то, что я ему очень помог советами. Остаюсь один, листаю этот чудесный том, кайфую, пока до меня не доходит, что ни одним моим советом Бродский не воспользовался. Не то чтобы я обиделся, но был в некотором недоумении. Пока до меня с таким опозданием не дошло, в чем дело: Ося дал мне «Остановку в пустыне», когда книга уже ушла в Нью-Йорке в набор. Нет, это не был розыгрыш! Выписываю из «Капитанской дочки»: «Известно, что сочинители иногда, под видом советов, ищут благосклонного слушателя». А уж благосклонности мне было не занимать! Бродскому не терпелось узнать, какое его книга произведет на меня впечатление еще до ее выхода в свет.

Произвела.

АПОФЕОЗ ОДИНОЧЕСТВА. ИОСИФУ БРОДСКОМУ – к 50-летию

Мне кажется, я подберу слова...

Пастернак

Эссе написано в жанре юбилейного адреса и впервые опубликовано 24 мая 1990 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» к 50-летию Иосифа Бродского. Реакция в нашем кругу была неоднозначной, о чем знаю со слов Довлатова, так как был в Москве, когда юбилейный адрес был напечатан. По-любому, статья была главной темой разговоров на день рождения юбиляра. Как раз сам Сережа был частью негативного хора, но Ося взял меня под свою сиятельную защиту. Именно в это время ИБ начинает говорить на тему одиночества прямым текстом, то есть не только в стихах. Озвучив прозой отстоявшийся в стихах ИБ вывод об одиночестве как источнике вдохновения, я, по-видимому, подтолкнул его на заявления подобного рода в прозе и разговорах. См., к примеру, его интервью газете «Неделя» спустя три месяца после публикации «Апофеоза одиночества»:

– Однажды вы написали, что «одиночество – это человек в квадрате». Поэт – это человек-одиночка?

– Одиночка в кубе или уж не знаю, в какой степени. Это именно так, и я в известной мере благодарен обстоятельствам, которые в моем случае это физически подтвердили.

– И сегодня вы остаетесь человеком более или менее одиноким?

– Не более-менее, а абсолютно.

– Наверное, это тягостное чувство?

– Нет, я бы не сказал... Человек – существо автономное, и на протяжении всей жизни ваша автономность все более увеличивается.

К слову, само название упомянутого телефильма «Остров по имени Бродский» подчеркивает одиночество поэта на земле – что наша земля в космосе.

Почему, садясь за это юбилейное послание и испытывая некоторую оторопь перед чистым листом бумаги, я избираю для литературного эссе эпистолярный жанр? Отдавая Вам давний долг – когда-то, в другой нашей жизни, Вы написали нам с Леной Клепиковой на день рождения прекрасное стихотворение? Из подражания юбиляру? Ведь чуть ли каждый второй Ваш стих есть обращение к невидимому и неведомому собеседнику, удаленному в

пространстве и времени, живому или мертвому, потомку, предку, современнику, все равно к кому: к маршалу Жукову или к Томасу Венцлове, к Марии Стюарт или к М.Б. – постоянному адресату Вашей любовной лирики. Да хоть к имяреку:

Имяреку, тебе —.....
..... – от меня, анонима.

Адреса потеряны, адресаты вымышлены – даже когда существуют под реальными именами, все равно как бы не существуют вовсе, как Ваш генерал Z., которому отправлено длинное послание: «Генерал! Вас нету, и речь моя обращена, как обычно, ныне в ту пустоту, чьи края – края некой обширной пустыни, коей на картах, что вы и я видеть могли, даже нет в помине». И апогей Вашей безадресной – и безответной – речи, когда Вы пишете:

Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря,
Дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже...

Я помню одну ленинградскую квартиру и несколько человек, подобно заговорщикам под низко спущенной с потолка зеленой лампой, и Вас, Ося, стоящего с листками в руках со скрытым во тьме лицом – один голос, читающий «Письмо в бутылке», с которого, собственно, началась и уже никогда не прерывалась моя любовь к Вашим стихам. Идущий на дно – человек ли, корабль – обращался ко всем, кого помнил, от Фрейда до Маркса, а фактически к никому: к тому, до кого дойдет.

Если дойдет.

Была бы бутылка под рукой, а там уж все в воле Посейдона...

Какой контраст к Вашей безадресной и безнадежной речи отчаянные возгласы Мандельштама:

Петербург, я еще не хочу умирать:
У меня телефонов твоих номера.
Петербург, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

А Вы и живых превращаете если не в мертвецов, то в анонимов. Даже М.Б. – это не псевдоним реальности (при всей узнаваемости для общих знакомых прообраза), а условный знак боли, обиды, отчуждения, сиротства и беспросвета. Однажды Вы обмолвились: «Здесь снится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте». В этом весь секрет, все равно, осознаете Вы его или нет, – все Ваши стихотворные послания адресованы самому себе, а это роман, который, как известно, никогда не кончается. Вы пишете: «...я тогда лишь есть, когда есть собеседник», но этот собеседник – воображаемый, Ваши лучшие стихи обращены, как бы сказал наш с Вами любимый римский император: «К самому себе». На сакраментальный вопрос «Для кого вы пишете?» Вы отвечаете словами Стравинского:

«Для себя и для гипотетического alter ego».

Об этом мнимо загадочном и мнимо таинственном alter ego Вы вспомнили в статье, посвященной некрологическому стихотворению Цветаевой: «Как это ни парадоксально и ни кощунственно, но в мертвом Рильке Цветаева обрела то, к чему всякий поэт стремится: абсолютного слушателя... Сознательно или бессознательно, всякий поэт на протяжении своей

карьеры занимается поисками идеального читателя, этого alter ego, ибо поэт стремится не к признанию, а к пониманию».

Пусть не буквально, но на каких-то высотах это перекликается с тем, что писал Ваш любимый, чтимый выше Пушкина Баратынский:

... как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

Замечательно, что даже отнесясь далеко в будущее, Баратынский назвал читателя в единственном числе: нет читателей – есть читатель. Один-единственный.

Читателей у Вас сейчас предостаточно по обе стороны океана, но речь идет об особом читателе, сконструированном по своему образу и подобию, абсолютном собеседнике, понимающем с полуслова и без слов, об alter ego, персонифицированном в другом человеке – о читателе, который существует только в зеркале. Тогда ничего не остается как самому создать читателя-голема и вкладывать ему в рот магические записки – стихи-послания, адресованные пространству, времени, стулу, мертвецу, листу бумаги, собственным стихам, самому себе. В Вашем идеальном представлении о литературе, говорящий есть в ней одновременно слушатель, а речь рассчитана на самое себя: ухо внемлет рту. Монолог тогда есть результат крошечного одиночества и отсутствия реального собеседника, а в драматической форме – в «Горбунове и Горчакове» и в «Мраморе» – только притворяется диалогом: на самом деле, это бесконечный спор автора с самим собой, если хотите – пользуясь сравнением из мира нам с Вами обоим, как кошатникам, близкого – игра кота с собственным хвостом. Закономерно, что в обеих Ваших пьесах всего по два действующих лица – а на сколько еще может распасться человеческая личность, чтобы ее можно было потом собрать обратно? – и оба персонажа взаимозаменяемы и путаются – Горбунов с Горчаковым, Публий с Туллем, хоть и представляют разные ипостаси автора:

«Как различить ночных говорунов,
хоть смысла в этом нету никакого?»
«Когда повыше – это Горбунов,
а где пониже – голос Горчакова».

«Диалектика», – скажу я.

«Метафизика», – поправите Вы меня.

Если фиктивен диалог, который по сути есть раздвоение авторского персонажа – в спектакле «Мрамор» обоих героев должен играть один актер! – то адресаты стихотворных посланий и вовсе мистификат, даже если обозначенные мирскими именами их двойники существуют в каких-то вполне конкретных координатах и измерениях. А адресат Вашего послания в прозе – Л. И. Брежнев: не такой ли он «сюр», как и все остальные Ваши эпистолярные собеседники? «Почта в один конец», как изволили Вы изречь по другому, правда, поводу, но тоже в обращении – сиречь послании – к самому невидимому Вашему адресату: Небожителю. Если бы я писал не юбилейное послание, а критическую статью, я бы сказал несколько слов о некрофильском настрое одиночества, которое есть свободный выбор – в отличие от все-таки вынужденной эмиграции. Усугублено и отретушировано ли это одиночество эмиграцией – другой вопрос, на мой взгляд, праздный. Я бы сказал о выборе одиночества ввиду очевидных его литературных преимуществ и даже выгод – в Вашем случае, несомненных. В хоре Вам не петь, даже «общественным животным» Вас не назовешь – слава Богу, Вы избегаете тавтологии, которой больше всего боитесь в самом себе. Рискну быть непонятым читателями, но Вы уж-то поймете: ленинградский суд был прав, избрав именно

Вас в качестве мишени. Этот суд, а точнее – те, кто его инспирировал – несомненно обладали каким-то особым чутьем на поэтический гений, хотя слово «тунеядец» было неточным, приблизительным. Но что делать, если в уголовном кодексе нет таких слов, как пария, изгой, альбинос, отщепенец, отшельник, анахорет? Либо, как сказал Гёте о художнике: деятельный бездельник. Или, как пишете Вы:

Бей в барабан, пока держишь палочки,
С тенью своей маршируя в ногу!

И еще более определенно о преимуществах одиночества: «Одиночество есть человек в квадрате».

Было бы большим самомнением критику полагать себя тем идеальным читателем, которому тоскует поэт, а сие послание – если не подражанием Вашим собственным, то попыткой ответа на все Ваши «письма в бутылках», жест одиночества и отчаяния, излюбленный жанр всех смертников, жанр, в котором написаны Ваши лучшие стихи, даже если обращение в них опущено вовсе.

А тем более легкомысленно было бы объяснять поэту его стихи. Я пытаюсь объяснить их самому себе, а заодно читателю, пользуясь открытой формой этого послания.

Я представляю себе Ваш юбилейный вечер, где я бы зачитал этот адрес-кентавр, помесь литературного эссе и дружеского послания. Но вечера не будет, а если бы и был, отправитель этого письма будет находиться в день Вашего 50-летия по другую сторону Атлантики, на нашей с Вами географической родине.

Другой вопрос, на который я отвечу не фразой или несколькими, а всем этим письмом – почему, приступая к нему, я испытывал некоторую оторопь?

Чувство ответственности перед Вами, живым классиком? Вряд ли – профессиональный критик адресует свой опус читателям, а не герою, даже если формально обращается к нему – Вы занимаете особое место в читательской аудитории, но не привилегированное. Тогда, возможно, боязнь повторов, ибо только в последнее время я напечатал о Вас две статьи, на очереди следующая, да и вышедший сейчас, после пятнадцатилетнего лежания в письменном столе, мой «Роман с эпиграфами» («Три еврея») посвящен Вашей судьбе, вдохновлен Вашими стихами и приурочен издателем к Вашему юбилею. Однако и это не причина, потому что сделанное Вами в литературе так велико, обширно, ветвисто, сюжетно и жанрово разнообразно, что возвраты к Вашим стихам и прозе понуждают к новым раздумьям, которые читатель-критик вовсе не обязан держать запертыми в голове, но может доверить бумаге, самому прочному в мире материалу – куда там граниту или прославленному Вами мрамору! Быть может, тогда разрыв между образами – литературным отщепенцем с явными признаками гениальности, каким я знал Вас в Ленинграде, и всемирно известным поэтом, нобелевским лауреатом, литературным мэтром, коим Вы теперь являетесь?

Что говорить, скачок и в самом деле головокружительный, но вряд ли такой уж неожиданный для тех, кто Вас знал прежде – даже когда Вы неприкаянно шатались по ленинградским улицам и самыми верными Вашими спутниками были агенты КГБ, и тогда в Вас ощущался (думаю, что и ими) мощный духовный потенциал, который был не ко двору в «отечестве белых головок» и пошел в бурный – чтобы не сказать, буйный рост, когда Вы «сменили империю»:

Этот шаг
продиктован был тем, что несло горелым
с четырех сторон – хоть живот крести;
с точки зренья ворон, с пяти.

Дуя в полую дудку, что твой факир,
я прошел сквозь строй янычар в зеленом,
чуя яйцами холод их злых секир,
как при входе в воду. И вот с соленым
вкусом этой воды во рту,
я пересек черту...

И годом раньше, в одном из сонетов к Марии Стюарт: «Во избежанье роковой черты,
я пересек другую – горизонта, чье лезвие, Мари, острей ножа».

Так Вы были потеряны для Ленинграда и России – тогда казалось, что навсегда – и
найлены, приняты другим миром, хотя житейская везучесть разве что амортизировала при-
земление, потому что трагедия вовсе не в пространственных перемещениях брэнного тела:

В настоящих трагедиях, где занавес – часть плаща,
умирает не гордый герой, но, по швам треща
от износу, кулиса.

К этому сюжету-вопросу – кто герой разыгрываемой в жизни (или жизнью?) траге-
дии? – Вы возвратитесь спустя два года после «Колыбельной трескового мыса», которую
я только что цитировал, в стихотворении «Пятая годовщина» (отъезда из России, поясним
читателю):

Я вырос в тех краях. Я говорил «закурим»
их лучшему певцу. Был содержимым тюрем.
Привык к свинцу небес и айвазовским бурям.
Так, думал, и умру – от скуки, от испуга.
Когда не от руки, так на руках у друга.
Видать, не рассчитал. Как квадратуру круга.
Видать, не рассчитал. Зане в театре задник
важнее, чем актер. Простор важней, чем всадник.
Передних ног простор не отличит от задних.

Деперсонализовав таким образом трагедию – что она, в самом деле, в просторах скорее
все-таки времени, чем пространства! – Вы кончаете стихотворение и вовсе махнув на себя
рукой:

Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.

И больше того: «Человек превращается в шорох пера по бумаге» либо «От всего чело-
века вам остается часть речи» – название одной из Ваших книг. Пока герой не исчезает вовсе,
окончательно, без следа: «...совершенный никто, человек в плаще, потерявший память,
отчизну, сына; по горбу его плачет в лесах осина, если кто-то плачет о нем вообще».

Здесь я хочу сказать о последствиях Вашего отъезда – совсем иных, чем Вы (верю, не из
кокетства) предполагаете: «Теперь меня там нет. Означенной пропаже дивятся, может быть,
лишь вазы в Эрмитаже. Отсутствие мое большой дыры в пейзаже не сделало...» Я свидетель
обратного, ибо прожил там на пять лет дольше Вас (сначала в Ленинграде, потом в Москве)

и уехал через пять дней после отмеченной в Вашем стихотворении пятой годовщины – 9 июня 1977 года.

За эти пять лет климат в стране – а тем более в Ленинграде, который есть страна в квадрате, что бы в той ни происходило – безнадежно ухудшился, а для художников стал и вовсе невыносим. И здесь обнаружилась странная взаимосвязь – чем хуже становилось в стране, тем больше мастеров ее покидало, а чем больше ее покидало, тем становилось все хуже и хуже. Наверно, можно и стоит говорить не только о художниках, но и про ученых, инженеров, врачей, журналистов, да хоть обывателей – с их отъездом в теле общества, а значит, и государства образовалась скважина, каверна, зияющая пустота, и эта мертвая полость с атрофированной тканью расширялась, тесня живые клетки организма. Вовсе не хочу все сводить к отъездам, но именно им суждено было сыграть если не роковую, то существенную роль в омертвлении государства, отчаянные попытки оживить которое делаются сейчас энтузиастами, прожектерами и авантюристами.

Я говорю о сумме отъездов, которые оказали такое разрушительное воздействие на главные опоры нашей с Вами родины – прежде всего духовную. Однако именно конкретные, индивидуальные отъезды – будь то эмиграция или насильственное выдворение – вызвали негативный эффект, который воспринимался остающимися весьма болезненно, то есть на эмоциональном уровне, еще до какого-либо анализа. Согласитесь, самый наглядный тому пример – высылка Солженицына, которая обозначила в жизни выславшей его страны рубеж – и рубец, долго не заживавший, кровоточивший. Ваш, полутора годами прежде, отъезд был духовным надломом в жизни Ленинграда.

Это не играет большой роли, как и кем эта утрата в Городе ощущалась. Я близко знал людей, которые тайно или явно Вашему отъезду радовались, потому что Вами был задан в жизни и в литературе тон и уровень, которым трудно было соответствовать, но которые уже невозможно было игнорировать. Всем нам, даже тем, кто Вас не любил, приходилось за Вами тянуться – никто в Городе не достигал такого творческого и духовного уровня, но само Ваше среди нас присутствие не позволяло «душе лениться», потворствовать собственным слабостям, тщеславиться и тешить себя мелкими удачами. То, о чем писал Рильке: «Как мелко наши с жизнью споры, нас унижает наш успех». Отвергнув провинциализм, Вы придали русской культуре мировые черты, передвинули ее с периферии к центру, отечественная стиховая речь зазвучала вровень с языком мировой цивилизации. Благодаря Вашей работе в литературе наша современность обрела свое место в историческом ряду, соотносясь с другими его явлениями.

И вот Вас в Городе не стало – одни приуныли, другие, наоборот, приободрились, полагая возможным индивидуальные усилия заменить коллективными, цеховыми. Добытый Вами и как бы принадлежавший нам всем уровень стал с Вашим отъездом стремительно падать – у тех, кто остался, ибо не на кого было больше равняться. Конечно, литература – не спорт, но присутствие в нашей среде чемпиона как бы поднимало планку, до которой никто из нас не допрыгивал, но желание было, и попытки – тоже. Теперь планка была опущена, через нее перепрыгивал любой, все были чемпионами, каждому было чем гордиться. Как известно, атрофия, то есть потеря органом жизнеспособности и даже уменьшение его в размерах, есть результат длительного бездействия. Духовная жизнь Города была обречена с Вашим отъездом на прозябание, а в обозримом времени и на атрофию.

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь? —

эту формулу Сальери могли бы повторить Ваши наиболее глубокомысленные оппоненты, а Вы сами, за пять лет до отъезда, написали прощальное послание «К Ликомеду, на Скирос», и исторические детали тут же прикипели к современности:

Я покидаю город, как Тезей –
свой лабиринт, оставив Минотавра
смердеть, а Ариадну – ворковать
в объятьях Вакха.

.....

Теперь уже и вправду – навсегда.
Ведь если может человек вернуться
на место преступления, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.

Может, в этом причина, почему нет Вас среди наезжающих в Россию отсюда писателей – вот уж действительно «апофеоз подвижничества», над которым мне грех насмехаться, ибо, закончив это послание, я сам начну укладывать чемоданы.

Либо Вы и в самом деле так уж резко отделяете существование своих стихов, которые сейчас обильно печатаются в России, от существования их автора? Зачем тогда возвращаться автору, когда стихи уже там? Писали же Вы в другом своем стихотворении, сігса того же 1967 года – в «Послании к стихам», чудесно стилизуя старинный слог:

Дай вам
Бог того, что мне ждять поздно.
Счастья, мыслю я. Даром,
что я сам вас сотворил. Розно
с вами мы пойдем: вы – к людям,
я – туда, где все будем.

Я говорю сейчас даже не о посещении России, а о возвращении в Город, который лично для меня без Ваших стихов уже немислим.

Вопрос в том, что для Вас Город, не менее, однако, важен, чем вопрос о том, чем были Вы для Города: «Только размер потери и делает смертного равным Богу».

Нынешние обоюдные ностальгические приступы все-таки не в счет в разговоре о Времени, которое есть главный герой Вашей поэзии. Время, попирающее пространство, как св. Георгий дракона – это, конечно, в идеале, потому что битва Времени с пространством продолжается – «как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство», а поле их битвы – Ваши стихи. Когда «меж тобой и страной ледяная рождается связь», хотя в нашем контексте вместо «страны» следует поставить «Город», а вместо «ледяной» – «утробной», в этот торжественный и трагический момент не время для обмена комплиментами, которые сейчас взаимно расточаете: Город – Вам, а Вы – горожанам. Происходит девальвация похвал и смещение литературного процесса, который под Вашим снисходительным пером выстраивается из одних наших с Вами земляков, преувеличенных каждый в отдельности, будто в других городах и весях России ничего в это время не происходило.

Но во всех этих Ваших предисловиях и послесловиях, этих издержках литературы, литературном шлаке, в Вашей сегодняшней аберрации – даже не зрения, а скорее памяти, коли Вы гласно хвалите то, что заглазно считаете посредственным, в сглаживании былых углов, в стремлении к бесконфликтности, эквилибриуму и гармонии, в искажении реальных пропорций и масштабов, в этом скорее все-таки бессознательном желании свести необъят-

ные (пока еще) просторы покинутой страны к одной точке на окраине ее пунцовой карты – «сжимая пространство до образа мест, где я пресмыкался от боли» – во всей этой эмоциональной сумятице проглядывают действительные координаты существования поэта во всеядном Времени и не поддающемся ему пространстве, независимо от того, где и когда, не оставляя следа, ступает нога – все равно кого, поэта или читателя.

Менее всего я думаю сейчас о таких Ваших якобы патриотических строчках, как «На Васильевский остров я приду умирать» – вообще, идеологическая трактовка (любая!) может только замутить картину, и без того не очень четкую, размытую. Но вот что поразительно – по Вашим стихам можно восстановить топографию отдельных мест Вильнюса, Ялты, Венеции, Лондона, Мехико-Сити, где «насытишь взгляд, но мысль не удлинишь»; менее всего – нашего с Вами Города, хотя стихи и память пропитаны им, как после ливня, до мозга костей.

Есть питерские поэты – даже известные среди них – которые живут отраженной славой Города, паразитируют на его былой славе, их халявные стихи своего рода путеводитель по нему, а названия улиц, проспектов, площадей, памятников, рек и каналов своим волшебством словно бы отменяют необходимость личных усилий, индивидуальных открытий.

Ничего подобного нет в Ваших зрелых стихах – ни пиетета, ни любования, ни меркантильного отношения к Городу. Связь с ним в Ваших стихах сложна, противоречива, метафизична. Может быть, поэтому Вас туда и не тянет физически, что, судя по стихам, Вы никогда Город не покидали. Или «есть города, в которые нет возврата»? И хотя у Города были великие славители и не менее великие ниспровергатели (иногда в одном лице – от Пушкина до Мандельштама, от Гоголя до Достоевского и Андрея Белого, вплоть до его гробовщика Константина Вагинова), ни один из них, смею утверждать, не был связан с ним на таком умопомрачительном, почти абстрактном уровне, где в конце концов отпадает нужда в названии не только его улиц, но и его самого. Это не декорация и не тема, не лейтмотив, не сюжет, не предмет описания или тоски, но – мифологема, безымянно, анонимно, но цепко и навсегда удерживающая Ваш стих. «Я заражен нормальным классицизмом» – это признание не представимо в устах москвича или харьковчанина. Но как раз эту детскую болезнь классицизма Вы легко преодолели – не зараза, а скорее прививка от болезни.

Я сейчас о другом следствии Вашей градофилии, которую с равным основанием можно обозначить и как градофобию. Город, который, по крайней мере, на два столетия стал объективацией русской истории и подмял под себя всю страну, завораживает ныне даже отголоском своего былого значения. В самом деле, крошечная точка на карте оказалась важнее самой карты (говорю пока что о русской), а на эмоциональном уровне – равна бесконечности. География восстала против истории, архитектурный стиль стал политическим триумфом: ампи́р – имперским стилем. Какие там улицы и каналы, когда сам Город как восклицательный знак!

О каком еще городе можно сказать такое? Ну конечно же о Риме, в который Вы в конце концов и переименовываете уже не раз переименованный наш Город. Вот где сходятся Ваши футурологические герои, Публий и Туллий, деля меж собой одну и ту же фразу. Публий ее начинает:

«Где бы все были, если бы он Империю не придумал...»

А Туллий заканчивает:

«...и столицу бы в Рим не переименовал. Гнили бы понемногу. Задворки Европы».

Надеюсь, нет сейчас в Кремле достаточно восприимчивого человека, чтобы откликнуться на Ваш – не совет и не призыв: предсказание.

Не говоря уж о разнице между Вашим имперством и их державностью: они хотят сохранить пространства, Вы доводите имперскую идею до абсурда. Их горизонталь у Вас противопоставлена вертикаль. Пьесу «Мрамор» лучше было назвать «Башней»: башней слов, башней снов, «правнучкой вавилонской» – потому и недостроенной. Знаю, предвари-

тельный набросок пьесы – в «Post aetatem nostram» – так и назывался: «Башня». Точнее сказать, это зерно, которое, упав в поэзию, проросло в драматургию:

Подсчитано когда-то, что обычно –
в сатрапиях, во время фараонов,
у мусульман, в эпоху христианства –
сидело или бывало казнено
примерно шесть процентов населения.
Поэтому еще сто лет назад
дед нынешнего цезаря задумал
реформу правосудья. Отменив
безнравственный обычай смертной казни,
он с помощью особого закона
те шесть процентов сократил до двух,
обязанных сидеть в тюрьме, конечно,
пожизненно. Неважно, совершил ли
ты преступление или невиновен;
закон, по сути дела, как налог.
Тогда-то и воздвигли эту Башню.

Зачем страна, когда есть Город? Зачем империя, когда есть столица, пусть и бывшая? Зачем бесконечность, когда есть точка? Зачем горизонталь, когда есть вертикаль? Башня как идея Времени, пожирающего пространство. Зачем жизнь, когда есть смерть? Таков абсолют мысли, вложенный Вами в уста Туллия и не вовсе Вам чуждый. Слава Богу, он в пожизненной камере не один, а со своим антиподом, Вашим Сганарелем-Лепорелло, «армяшкой», варваром, обрезанцем: бунтующая в неволе плоть. Хотя если бы Туллий проповедовал абсолют империи в одиночестве, это бы выглядело еще более, что ли, неуместно, учитывая место действия – то бишь проповеди – то бишь бездействия. Но любой абсолют есть бездействие, счастье есть смерть, тем более рай, а империя мыслится Туллием именно как рай идеи, и это, пользуясь Вашими словами, «место бессилья», «конец перспективы».

Туллий умнее Публия, но Публий мудрее Туллия – я говорю не только о смертолюбии римлянина и жизнебесии варвара. Простота мудрее высокомерия, спеси, чванства – пусть не лично собой, а принадлежностью к великой идее, без разницы. Вы поместили в одну камеру двух маньяков – идейного и сексуального. Не знаю, как Вы (хоть и догадываюсь), но я отдаю решительное предпочтение последнему. Хотя, несомненно, прав Публий, когда замечает: «Не в словах дело: от голоса устаешь! От твоего – и от своего тоже. Я иногда уже твой от своего отличить не могу».

Я тоже не всегда могу – «как различить ночных говорунов»? А Вы сами, Ося, можете? Точнее – Иосиф Бродский, сидящий в своей башне слов и снов, в пожизненной каторге одиночества и поэзии и разыгрывающий в ней пьесу на два голоса. Не обязательно в драматургии. В любом жанре, за исключением разве дежурных предисловий к выступлениям и книгам Ваших земляков.

Было бы неразумно настаивать на ответе – в конце концов, любое послание, включая это, есть «почта в один конец».

В Вашей камере-обскуре, в вымышленной башне в вымышленном Риме и в вымышленном будущем нет ни Публия и ни Туллия, ни римлянина и ни варвара, ни варяга и ни грека, ни эллина и ни иудея, ни гоя и ни айда, но только Поэт и его Одиночество.

Но даже мысль о – как его! – бессмертии

есть мысль об одиночестве, мой друг.

Теперь я, кажется, понял, почему испытывал оторопь, садясь за это юбилейное послание, в котором не все сказал, что думал, и не все додумал, что хотел. В заготовках Эйхенбаума к выступлению об Анне Ахматовой есть следующее замечание: «Я сам из того же поколения – и поэзия Ахматовой факт моей душевной, умственной и литературной биографии. Мне и легко и очень трудно говорить – не все скажу ясно».

Схожее чувство испытал я, обращаясь к Вам с этим посланием и осознавая его скудость и недостаточность. Потому что мне уже трудно представить свою жизнь и жизнь многих моих современников без того, что Вами сделано в литературе. Мы обрели голос в Вашей одинокой поэзии, а это далеко не каждому поколению выпадает.

Три еврея, или Утешение в слезах Роман с эпиграфами

Бикфордов шнур. Предисловие к «Трем евреям»

Еже писах, писах.

Ин. 9-22

С литературного измательства у меня появилась странная привычка превращать жанровые подзаголовки в названия: «Торопливая проза», «Жидовская исповедь», «Роман с эпиграфами», а последний за четверть века своего сначала догутенбергова, потом тамиздатного и, наконец, хрестоматийного существования под новым названием «Три еврея» оброс легендами и сам превратился в литературный миф, обозначив художественную вершину этого подпольного периода. Самым адекватным общим наименованием было бы, конечно, «Торопливая проза», ибо объединяет все вышеназванные штуки, сочиненные наспех, второпях, в страхе и без оглядки с конца 60-х до середины 70-х – понятно, в стол. Это была предотъездная проза – имею в виду не отвал за океан, который приключился несколькими годами позже, но переезд из Питера в Москву, что в тогдашних условиях значило переменить кагэбэшное рабство на крепостную зависимость от государства. Работа прозаика была на самом деле работой крота, который рыл нору в направлении центра земли, параллельно со своей официальной деятельностью критика, кандидата наук, члена Союза писателей, ВТО (Все-российского тетрального общества) и проч. Дабы подчеркнуть эту литературную подпольность, я и стал склоняться от адекватного, но все-таки формального заглавия «Торопливая проза» в пользу «Жидовской исповеди», а это потребует немедленных объяснений.

Все доселе сокрытое даже от жены и друзей вылилось в эту горемычную, горячечную исповедь, с покаянным чувством и наговором на себя. Исповедь грешного сына века. Я чувствовал себя дерьмом и был бы им на самом деле, не решился я на эту *mea culpa*, которую превратил в *mea maxima culpa*, хотя на самом деле это был *Jewish guilt*. Не самоутверждение с помощью литературы, но самоуничтожение, самоотрицание с ее помощью и в ней самой. Да, мощное давление КГБ, да, мнимые друзья, которые на поверку оказались коллаборантами, сексотами и стукачами, да, поддержка гения – само существование Бродского, одного из «трех евреев», а тем более близкое знакомство с ним снабжало необходимыми для литературного выживания моральными и художественными ориентирами. «Торопливая проза», притча-метафора, праматерь всей моей следующей прозы; остатки питерского дневника, поименованные «Жидовской исповедью», повесть-сырец, полуфабрикат, прямоговорение, болванка для вершинного романа с эпиграфами «Три еврея» – по отдельности и в совокупности были выпрямлением из-под пресса, из-под гнета государственных и личных обстоятельств, высвобождением от них. Как точно определил мой нынешний сосед по Куинсу Боря Парамонов, прочтя нью-йоркское издание «Трех евреев», – это портрет еврея, бегущего на свободу. Я его поправил: портрет жида, бегущего на свободу, разумея под словом «жид» человека любого происхождения. В этом секрет употребления – а на сторонний, да и на мой сегодняшний взгляд злоупотребления – этим словом и его эквивалентами (еврей, иудей и проч.) в означенных произведениях – менее всего это этническая х-ка.

Другой мой куинсовский приятель Миша Фрейдлин всячески отговаривал меня от «Жидовской исповеди» – пусть останется в оглавлении, но не на обложке! – дабы не отвратить еврейских и проеврейских читателей:

– То же, что со свастикой, – напомнил он о моей телепередаче «Свастика: без вины виноватая?» – пусть древний символ, но время для ее реабилитации, учитывая зловещие ассоциации, еще не пришло.

Важно не то, что жид в соседних славянских языках просто еврей, без унижительного оттенка, а то, что в самом слове остался заряд ненависти, привкус оскорбления и погрома.

– Что и требуется! Импрессионисты присвоили себе уничижительную кличку, брошенную одним из зоилов, и под этим именем вошли в мировое искусство. Если Достоевский не стыдился «униженности и оскорбленности», то нам тем более не пристало стыдиться жидовства.

– Зачем напоминать мне, что я жид? – сердился Илья Штемлер, прибывший на очередную побывку в Нью-Йорк из Питера. – Я бы и вовсе изъяс слово из употребления.

– Тебе бы цензором в советское время! В 50-е факсимильно был переиздан «Толковый словарь» Даля, с одним только отличием от оригинала: слово «жид» опущено. А когда я распечатывал по журналам свою пушкинскую диссертацию, мне Жида, героя «Скупого рыцаря», заменяли на Соломона.

– Для меня даже «Еврей Зюсс» звучит вызывающе.

– Переименуем в «Безобразную герцогиню».

– Кроме шуток! Зачем напоминать о былом унижении, уязвлять нашу гордость?

– «Жид» звучит куда более гордо, чем «человек».

И последнее возражение я услышал от своего издателя – Игоря Захарова:

– Сужаем адрес.

На мой взгляд, наоборот, расширяем: *urbi et orbi*, городу и миру, антисемитам и жидам, всем, всем, всем.

Бродский меня поддержал, одоблив само название рукописи, потому как сам использовал оскорбительную кличку русских евреев как позитив. К примеру, XX век называл «жидовским».

Далеко не все записи в «Жидовской исповеди» (тем более в «Трех евреях»») касаются евреев. Однако в целом «Жидовская исповедь» – вместе с «Торопливой прозой» и «Тремя евреями» – должны дать именно ощущение жида – скорее, чем еврея: то есть оскорбленного, униженного, затравленного и гордого. Понятие жидовства раскрывается не в ограниченно-этническом смысле, но в более емком и просторном, цветаевском, что ли:

Гетто избранничеств.

Вал и ров.

Пощады не жди.

В сем христианнейшем из миров

Поэты – жида.

Не только евреи, но и не только поэты – шире. И одновременно уже: как не все поэты – жида (даже те, кто евреи), так и не все евреи – жида (даже те, что поэты). К примеру, еврей Бродский – как и русская Цветаева – жид, а его антипод в «Трех евреях» Кушнер – даже не еврей, хоть и еврей по паспорту. Жидовство – это самоощущение, самочувствие, свободный выбор. Если хотите, избранность. Я себя чувствовал именно жидом, когда писал «Жидовскую исповедь» и «Трех евреев», а сейчас, на воле – все меньше и меньше. Здесь, в Америке, я – русский: вместо этнической идентификации – географическая привязка, культурная прописка, профессиональная характеристика. А что было тогда? Ощущение отчужденности, отверженности, одиночества, остракизма и отщепенства, всеобщего презрения, собственного ничтожества и тотальной опасности, тесного гетто и газовой камеры. Портрет

жида, загнанного в тупик – вот что такое данная книга в авторском представлении. А уже как следствие – бегство на свободу.

Автопортрет на фоне 70-х. Тех самых 70-х, которые подвергаются теперь ностальгической перетрактовке и даже идеализации на моей географической родине.

Точнее портрет 70-х со стаффажной фигуркой автора, который носится, как угорелый, по страницам «Жидовской исповеди».

Самого меня прямо называли жидом всего несколько лет назад, уже здесь, в Нью-Йорке. Произошло это прилюдно, в присутствии двух Лен – Лены Довлатовой и Лены Клепиковой, причем одна из них удивилась, что я не обижаюсь. Да я бы и сам удивился, скажи мне четверть века назад, что на подобное оскорбление – не личное, а родовое – я никак неотреагирую и не вступлюсь за честь своего племени. По существующему кодексу, я просто обязан был что-то предпринять – если не бутылкой по кумполу, то по крайней мере немедленно порвать с юдоедом. В конце концов, я так и поступил, но не сразу, не демонстративно, а после двух-трех других его неблагоприятностей и без объяснений. Это про него Довлатов говорил, что антисемитизм – только часть его говнистости, а он про Сережу – что не дает ему покоя покойник. Потом я написал рассказ «Еврей-алиби» – не только про то, зачем антисемиту еврей, но и зачем еврею антисемит, и тиснул эту историю в предыдущей, «довлатовской» книге сериала «Фрагменты великой судьбы».

Набоков, говорят, когда при нем кто-нибудь высказывался в подобном роде, свирепел и пускал в ход кулаки, благо одной из его побочных профессий была боксерская. Однажды он дал в рыльник Алданову, настоящая фамилия которого Ландау. Андрей Платонов в таких случаях покидал благородное собрание. Не будь я евреем либо будь мне не за пятьдесят, а 25 или 15, я бы, наверно, тоже как-нибудь откликнулся, но вот беда – не бывая в синагогах, никак не участвуя в еврейской жизни и не празднуя библейских праздников, будучи по культуре, по воспитанию, по интересам и даже по профессии космополитом с русским уклоном, я тем не менее всю свою российскую жизнь чувствовал себя именно жидом, а потому и озаглавил свой российский дневник «Жидовской исповедью» и даже хотел вынести, несмотря на протесты друзей, знакомых и даже – по ряду книг – соавтора (по совместительству жены), это имя на обложку книги.

Так как же мне тогда оскорбляться на жида, коли я и есть жид, чего никогда не скрывал, хотя при моей русской фамилии и общеевропейской внешности сделать это легко?

Вот почему мне и не нужны никакие дополнительные атрибуты еврейства, будь то кошерная еда, синагогальная служба или этноэгоцентрические разговоры. Как говорится, *omnia mea tecum porto*.

Так вот, внешним побуждением к составлению первого московского издания «Трех евреев» – после нью-йоркского и питерского – послужило нанесенное мне под пьяную руку оскорбление одним моим знакомцем и двойным земляком – сначала по Ленинграду, а теперь по Нью-Йорку. Человеком, несомненно, одаренным и в нашей здешней русской общине заметным. Не скажу больше ничего, дабы не превращать литературный эпизод в обывательскую склоку, а рассказ о нем – в сплетню или, того хуже, донос. Как ни парадоксально прозвучит, но я благодарен своему пьяному собеседнику за напоминание, которое в свою очередь послужило если не творческим, то издательско-композиционным импульсом. К тому же, его жидофобство я рассматриваю, как тайную, подсознательную, извращенную любовь к еврейству – ничто мы так круто и люто не ненавидим, как то, что любим.

И наоборот.

Мои московские издатели – Ирина Богат и Игорь Захаров – меня опередили и, реализуя метафору, вынесли на обложку эффектное название «Три еврея», а «Роман с эпиграфами» пустили в качестве подзаголовка. «Заставить современного российского читателя купить книгу с названием “Роман с эпиграфами” это нереально, – писал московский критик. – А

вот «Трех евреев» кто-нибудь да купит. А назови книгу «Три русских» – не купят. А «Три чукчи» – купят. «Три казаха» – не купят. «Три мушкетера» – купят. «Три писателя» – не купят. «Три проститутки» – купят. «Три мужика» – не купят. «Три голубых» – купят. В общем, вам понятно, о чем я говорю?»

Что касается исключенной из всех изданий «Трех евреев» собственно «Жидовской исповеди», то ее второе название – «Сопутствующие записи» – довольно точно указывает на производственный характер составляющих ее набросков: они сопутствовали всю мою сознательную – а заодно и подсознательную – советскую жизнь. Их интенсивность находилась в прямой зависимости от интенсивности официальной моей работы: чем больше я писал для отечественной прессы, тем чаще обращался к дневнику, воспринимая его как отдушину, как поток кислорода – человеку, как известно, необходимо дышать. Все меньше и меньше стал делать я записей, когда начал работать над «Тремя евреями», над романом-эпизодом «Не плачь обо мне...» и другими неподцензурными сочинениями.

Я ничего не менял в прежних своих записях, хотя соблазн велик: все написать заново. Ну, к примеру, мой пессимистический прогноз об искусственной дискретности, о вынужденной прерывистости русской культуры в связи с тем, что в ней все-таки нет ИБ – потому что его не печатают. Тем не менее саму «Жидовскую исповедь» решил пока не публиковать – еще не пора. Разве что *post mortem*. К тому же, я обкорнал, обокрал сам себя, когда легкомысленно извлек некоторые питерские заметы – о КГБ, о Бродском, о кагэбэшных прихвостнях, приبلатненных, коррумпированных литераторах, типа Воскобойникова и Кушнера, о суде над Марамзиным – для «Трех евреев». Теперь я об этом немного жалею. Как и о том, что в приступе обыскомании вырвал однажды некоторые записи и спустил в унитаз. Случилось это весной 77-го, в кратковременный период работы нашего московского информационного агентства «Соловьев-Клепикова-пресс», бюллетени которого широко печатались в мировой печати и через «вражьи голоса» в обратном переводе возвращались в Россию. По-любому, «Три еврея» – это не просто докурман, но и документ, а потому не подлежит редакции – ни авторской, ни редакторской.

Частично со своими записями я сейчас не согласен, как и с человеком, их писавшим – в Америке я пересмотрел многие свои взгляды, иногда очень резко, а некоторые мои чувства здесь (и с возрастом) притупились. Однако вместо того, чтобы что-либо менять – а руки чешутся – я продолжаю вести свой дневник. Вот почему – ввиду жанрового соответствия – я включил в эту книгу также отрывки из моего американского дневника, имеющие отношение к Иосифу Бродскому. Под соответствующим названием – «Два Бродских». Критический противовес к «Трем евреям», где я Осю слегка пересиропил: согласен с его отзывом на мой роман.

Некоторые сочинения должны дожидаться смерти автора, чтобы быть изданными, и у меня есть парочка-другая таких укромных опусов для посмертных публикаций. Но как раз «Три еврея» к разряду посмертных сочинений не принадлежат, хотя их живые еще персонажи приложили немало усилий, чтобы приостановить, а еще лучше и вовсе отменить его издание. Вот почему понадобилось еще десять лет – после нью-йоркского издания 1990 года – чтобы «Три еврея» были переизданы в стране, где они были написаны в 1975-м на одном дыхании – за три месяца. По месяцу – на каждого еврея. Шутка.

После публикации «Трех евреев» в Америке – сначала в периодике, а потом отдельным изданием – стали появляться главы из него в московских газетах и журналах («Совершенно секретно», «Искусство кино», «Россия»). Несколько издателей заключили со мной договоры на его издание, я получил довольно крупные по российским стандартам авансы, но один за другим издатели отказывались от этой рискованной затеи под давлением «героев» романа. Наиболее стойким оказался Сергей Иванов, который подписал со мной договор на три книги,

хотя самым амбициозным его желанием было издать именно «Три еврея», которые тогда проходили под изначальным названием «Роман с эпиграфами».

Вот что он писал мне осенью 1994 года из Петербурга в Нью-Йорк:

Я, как всегда, в цейтноте и не успеваю многословно поблагодарить Вас, как читатель, за «Роман с эпиграфами». Он столь написан для меня, что я уже предвижу удовольствие от считывания гранок этой книги и не передоверю сей технической процедуры никому. Я благодарен Вам, что из-за «Романа с эпиграфами» я перессорился с людьми, которых держал за друзей (они категорически против его опубликования) и, наоборот, сошелся с юными «теневиками». Ведь именно они, не отягощенные шестидесятилетними комплексами, и финансируют выпуск Ваших книг.

Увы, мужество не всегда вознаграждается в этой жизни: Сергей Иванов успел выпустить только одну книгу («Андропов: тайный ход в Кремль») и был зарезан неизвестными у подъезда своего дома.

Нет, конечно, ни одного более-менее известного россиянина, которого не подозревали бы в сотрудничестве с гэбьём. На этот сюжет Бродский сочинил когда-то длинную поэму «Горбунов и Горчаков». Не избежал этих обвинений и я – с той только разницей, что обвинения в «опасных связях» делались на основании моих же собственных признаний в тогда еще не опубликованных в России «Трех евреях», причем эти признания перетолковывались, искажались и дополнялись, чтобы, дискредитировав автора, умалить высказанные в романе взгляды и оценки. Давили даже на Бродского, чтобы он публично отмежевался от «Трех евреев»; он этого делать не стал, а одному из питерских ходатаев – назову впервые по имени: Жене Рейну – ответил с присущей ему лапидарностью:

– Отъе*ись!

Понятно, что особенно усердствовал – и переусердствовал – в этом направлении лютый антипод Бродского в сюжете «Трех евреев». Как и в творимой гэбухой реальности: пусть они соперники и разных весовых категорий, но именно из Скушнера (какую точную кликуху придумал своему врагу Ося!), используя его ненависть к Бродскому, создавал питерский КГБ антиБродского: тоже поэт, тоже интеллектуал, тоже еврей, но наш еврей, прирученный, послушный, покорный, придворный, ливрейный еврей. Гомункулус гэбухи, гомо советикус, поэт-совок. «Амбарный кот», как припечатал его Бродский в классном стихотворении.

В известном смысле появление героя по имени «Саша Кушнер» в этом качестве в моем романе – большая честь для его реального прототипа и даже своего рода подпитка. Ну разве это не везение: пусть в качестве антипода, но оказаться вровень с гением! Как писал один здешний рецензент,

«„Три еврея“ выдержали проверку временем: написанный 25 лет назад и впервые опубликованный 10 лет назад, роман читается с огромным интересом и, я думаю, будет читаться потомками, которые, конечно, забудут о поэте Кушнере и других малозначительных фигурах романа, но дух своего времени, так взволнованно и правдиво переданный автором, они осязят».

Так вот, усердие моих зоилов дискредитировать «Трех евреев» с помощью моральной и политической дискредитации автора все-таки не от большого ума. Иначе, как недоумением, чем еще объяснить создание тем же Кушнером посмертного мемуарного фальшака о Бродском, когда лжевспоминальщик, не решаясь сам выказаться против меня, понуждает это сделать мертвеца? Здесь, конечно, еще дополнительный умысел: поссорить меня с покой-

ником. Но пусть даже я полковник КГБ, ЦРУ, Моссада и Интеллидженс сервис, все равно это не прибавит ни ума, ни таланта «посредственному человеку и посредственному стихотворцу», как всегда называл Бродский Кушнера (эту характеристику приводит и друг Бродского Андрей Сергеев в своем мемуаре). Что все эти антисоловьевские инсинуации меняют в структуре «Трех евреев», самой, кстати, антикагэбэшной книги в русской литературе прошлого века?

Сила соловьевского текста в том, что он на клеточном уровне исследует эти отношения и зависимость, в которую попадают не решившиеся восстать против КГБ люди, – писал другой рецензент в «Новом русском слове», флагмане русскоязычной периодики Америки. – Роман рассказывает о тюрьме страха и выходе из нее, и я не знаю, какая часть ценнее. Наверное, обе.

Только на таком клеточном уровне «Три еврея» могут быть оспорены. Другими словами, «Роман с эпиграфами» можно опровергнуть только с помощью «Антиромана с эпиграфами», но у его заклятых врагов кишка тонка – имею в виду литературную – чтобы сочинить нечто вровень с «Тремя евреями». Им ничего не остается, кроме инсинуаций, увы, на слабоумном уровне, как у помянутого стихотворца. Сказывается здесь не только возрастная деградация, но и тепличные, инкубаторские условия советского и постсоветского существования.

«Три еврея» – мой щит и меч. Он неопровержим и как документальное свидетельство и как художественная структура. Последнее важнее всего – это роман, пусть время и придало ему аутентичную ценность как документу эпохи.

Конечно, сговор и заговор персонажей «Трех евреев» против издания книги мог сам по себе послужить «сюжетом для небольшого рассказа».

Тем более там есть все, что необходимо для романической интриги – от клеветы до шантажа. Однако если уже в «Трех евреях» мне приходилось, в угоду художественным требованиям, добавлять персонажам более тонкие аргументы и более сложные мотивировки, снабжая довольно примитивные существа душевным подпольем, то в нынешнем состоянии, судя по уровню наскоков на «Трех евреев», его персонажи и вовсе помельчали, деградировали и стали плоскими, как из папье-маше, а потому еще на один литературный опус ну никак не тянут. На каждый чих не наздравствуешься. Другие сюжеты роятся в голове у автора, не дают покоя. Особенно один. Расстояние со времени написания «Трех евреев» до нынешних времен – это не просто 40 лет, но сотни телепередач, радиоскриптов и статей в американской прессе, несколько фильмов, включая полнометражный «Мой сосед Сережа Довлатов», изданные в 13 странах на 12 языках политологические триллеры, пара дюжины книг, с полсотни рассказов, восемь романов. Мне некогда оглядываться – и некуда.

У меня нет ни времени, ни желания перечитывать мои прежние сочинения. Последний раз я просмотрел «Трех евреев», готовя нью-йоркское издание. Как я теперь полагаю, глядя издали и со стороны, «Три еврея» есть результат моего нравственного чистоплюйства, в тех условиях немыслимого и до сих пор не очень понятного. Отсюда его искаженное восприятие. Там, где искусства ради и из морального самоудовольствия я наговариваю на себя, принимая вину и ответственность за градо- и мироустройство, кой-кому показалось, что я, наоборот, не договариваю, а потому договаривают за меня. Я дал моим врагам оружие против себя и не жалею об этом, хоть они и разят меня им. На самом деле не меня – автора Владимира Соловьева, а подставное лицо – литературного героя Владимира Соловьева. Там, куда летят их отравленные стрелы, меня давно уже нет.

Интригующий читателя вопрос: был ли автор агентом КГБ? К сожалению, мне совершенно нечего добавить к тому, что я уже написал в «Трех евреях». Более того, за исключе-

нием одной заграничной поездки, мне больше и не предлагали им стать, догадываясь заранее о моем ответе. Да и не по чину – я был известный литератор с репутацией принципиального человека, каковым остался до сих пор. Чаще всего человек преуменьшает свои грехи, в то время как в «Трех евреях» я их преувеличиваю, казню себя за несущественные или несуществующие. То есть иду путем Монтеня и Руссо, но на уровне моих зоилов это быть понято не может. Коли помянул Монтеня, заодно и процитирую:

Пожелай кто-нибудь под личиной внешнего беспристрастия смешать меня с грязью, у него было бы более чем достаточно поводов куснуть меня за признаваемые и признаваемые мною самим недостатки, он мог бы вдосталь натешиться, попадая, что называется, в самую точку. Если бы, однако, ему показалось, что, обличая и обвиняя самого себя, я лишая жала его укусы, то ему было бы проще простого воспользоваться своим правом преувеличения и сгущения (право нападающего – пренебрегать справедливостью). Корни пороков, которые я открываю в себе, пусть он превратит в раскидистые деревья; пусть обрушится не только на те пороки, которые держат меня в своей власти, но и на угрожающие мне в будущем – пороки постыдные и сами по себе, и потому, что их великое множество; этим оружием пусть он меня и побьет.

Для суда же над самим собой у меня есть мои собственные законы и моя собственная судебная палата, и я обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было.

Сама потребность покаяться и очиститься от этих достаточно невинных бесед в КГБ (замечу в скобках, что я укатил из Питера в Москву летом 75-го, а вскоре и из России, и с питерских времен больше встреч с представителями этой организации у меня не было ни одной) воспринимается теми, у кого эти беседы были более винные и более частые, а то и вовсе отпетые кагэбэшники, хотя рассказать о них ни у кого потребности и мужества не возникло, – как признание в больших и более стыдных грехах. Можно сказать и более определенно, не греша против истины: все эти инсинуации исходят от КГБ и загэбизированных литераторов – сексотов и стукачей. Вот почему мой поклев на самого себя используют, чтобы отмазаться от собственных грехов, а заодно поставить под сомнение аутентичную ценность «Трех евреев». Хочу еще раз подчеркнуть: в отличие от клишированных мемуарных сочинений о мертвецах, которые не имеют возможности опровергнуть приписываемые им высказывания, мой роман носит дневниковый и по отношению к героям прижизненный характер. Именно так его и воспринимали все, кто читал «Трех евреев» в 75–77 годах: Лена Аксельрод, Таня Бек, Лена Клепикова, Барбара Лёнквист, Юнна Мориц, Юз Алешковский, Володя Войнович, Яша Длуголенский, Фазиль Искандер и другие.

Бродский прочел «Трех евреев» трижды – в рукописи, в серийной публикации в «Новом русском слове» и в нью-йоркском издании, сравнивал с книгами Надежды Яковлевны Мандельштам, с чем я не соглашался: разные жанры – у нее мемуары, а у меня дневниковый роман. О герое по имени Бродский Бродский заметил, что вышел немного сиропным, а о «посредственном стихотворце» сказал, что тот хоть и допрыгивает до планки, но устанавливает так низко, что перепрыгнет и ребенок.

В результате той моей почти патологической потребности высказаться возникло художественно и эвристически уникальное произведение, которое я слегка подпортил нью-йоркским изданием, поместив там портреты прототипов и раскрыв псевдонимы (в рукописи были не Бродский, а ИБ, не Саша Кушнер, а Саша Рабинович, не Лидия Яковлевна Гинзбург, а Лидия Михайловна без фамилии, но остальные под реальными именами, включая кагэбэшников). Нарушено было художественное единство, но как быть дальше – восстановить прежние псевдонимы или уже поздно ввиду того, что изданная книга стала достоянием литературы? Естественно, поставив реальные имена, мне пришлось снять ряд срамных харак-

теристик относительно того же Саши Рабиновича. Восстановить романские имена вместе с характеристиками?

Так и не решив эту дилемму во время срочной подготовки моего килограммового фолианта – 815 страниц, – который вышел в 2000 году в «Алетейе» и где «Три еврея» занимают одну только треть, я остановился на факсимильном воспроизведении его нью-йоркского издания, включая гравюры в тексте и тетрадку с портретами. Тем самым подчеркнул документальную достоверность «Трех евреев», но одновременно подточил художественную целокупность.

Понятно, я был рад, что «Три еврея», о которых многие читатели знали понаслышке, вышли, наконец, в России одновременно с другими моими книгами. Да еще в издательстве с таким замечательным названием: «Алетейя». В переводе с древнегреческого: истина. Ведь когда я строчил «Трех евреев», мне казалось, что настал момент истины и я должен говорить как на духу: правду, только правду и ничего, кроме правды. Литература как способ существования и выживания. Чтобы не скурвиться и не сойти с ума.

Боковая поросль русской словесности: «Записки сумасшедшего» – «Смерть Тарелкина» – «Четвертая проза» – «Три еврея».

Суфлерская подсказка будущим историкам литературы.

Это страстная, покаянная, иступленная книга. Если бы не написал, лопнул бы, задохнулся. Чисто физиологическая потребность – очиститься от скверны внутри себя. Вот именно: катарсис, то есть очищение. Не только в философско-эстетическом смысле, но и в изначальном: понос, рвота. «Другой прозы я, впрочем, и не признаю, а только прозу как компенсацию, как возмещение, как реванш, как речевые спазмы, как родовые схватки, как скатологические позывы», – писал я в рассказе «Умиравший голос моей мамы...» спустя 15 лет уже в Нью-Йорке. Отсюда, из пространственного и временного далека, когда я перечитал «Трех евреев», готовя первое нью-йоркское издание, он произвел на меня впечатление эманации моральной чистоты и совестливости почти юношеских, хоть я и написал его в 33 года. Иисусов возраст обязывает. Мое евангелие – Евангелие от Владимира Соловьева¹. И вот теперь, через голову сходящего со сцены поколения шестидесятников, я надеялся (и надеюсь до сих пор) быть услышанным «племенем младым, незнакомым».

Мечты, мечты, где ваша сладость?

С именем мне вообще не так чтобы повезло – хронологически с обеих сторон: см. мой рассказ «Мой двойник Владимир Соловьев» – о двойнике-предшественнике. На мою беду, как черт из табакерки, выскочил еще один Владимир Соловьев, Владимир Рудольфович, тоже еврей, тоже писатель, да к тому же теледееатель. В Интернете, если вызвать Владимира Соловьева, в основном – он, меня вспоминают мимоходом в статьях о нем или путают с ним. Поэт-философ, космонавт, костромской пиит, и теперь вот телеведущий и автор «Евангелия от Соловьева» с заемным у меня названием. Владимир Сергеевич давно уже мертв, современники, надеюсь, живы, а этот, 1963 года рождения, статистически переживет меня. Но это физически, а метафизически лучший способ уничтожить человека – пустить по свету его двойника: «Двойник», «Нос», двойная «Тень» – Андерсена и Шварца и их предтеча – повесть Шамиссо о шлемазле Петере Шлемиле. То есть украсть его айден-тити, как в «Twilight Zone». Нет больше ни Владимира Сергеевича Соловьева, ни тем более Владимира Исааковича Соловьева – разве что в связи с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым, как в рецензии на его, а на самом деле мое евангелие.

¹ «Евангелие от Владимира Соловьева», без ссылки на изначального автора, позаимствовано у меня тезкой и однофамильцем телевизионщиком Владимиром Соловьевым и вынесено им на обложку его книги. Плагиат? Не знаю. А потом, уже в Интернете, я читал горячее обсуждение моей «Апологии сплетни» как его опуса. Крошка Цахес, не иначе!

Правда, мои «Три еврея», потом моя запретная книга о Бродском «Post mortem» и следующие за ней «Два шедевра о Бродском», «Как я умер», «Записки скорпиона», «Мой двойник Владимир Соловьев», «Осама бин Ладен. Террорист № 1», «Быть Сергеем Довлатовым» несколько выправили мою пошатнувшуюся репутацию и теперь мне ничего не остается, как в отпущенные мне судьбой годы совершать новые подвиги на ниве русской словесности. Спасибо, соплеменник-соименник-однофамилец, за толчок, который при иных обстоятельствах мог стать подножкой, а стал импульсом.

Боюсь, однако, сам роман оказался похороненным в этом роскошном, подарочном, с многочисленными иллюстрациями, дорогостоящем, малотиражном и мало кому доступном издании. Иное дело в Америке, где книгочей более состоятелен: новое издание «Трех евреев» прозвучало здесь с такой взрывной силой, будто и не было ни его нью-йоркского издания, ни многочисленных публикаций в периодике по обе стороны океана. Русское телевидение WMRB посвятило выходу книги несколько передач, одна из них называлась «Бикфордов шнур», хотя я и не понял, относится это к автору как возмутителю спокойствия или к «Трем евреям»; в газетах печатались статьи о книге и отрывки из нее; радиостанции наперебой брали у меня интервью, а «Народная волна», самая популярная из них, устроила двухчасовую передачу в открытом эфире, с привлечением не только знаменитых русских американцев, но и питерцев с москвичами, включая питерца-москвича-нью-йоркца Владимира Соловьева. На начало нового века пришелся период моей оральной активности (прошу прощения за несколько двусмысленный оборот). Неудивительно, что при такой раскрутке книга в течение нескольких месяцев держалась в списке бестселлеров «Нового русского слова» – вместе с кассетой фильма «Мой сосед Сережа Довлатов», одновременная премьера которого состоялась по нью-йоркскому телевидению и с аншлагом на большом экране на Манхэттене.

Мне бы радоваться, а у меня было странное такое чувство, что старик Гераклит круто ошибся, и я не то что дважды, а уже в пятый раз вхожу в одну и ту же реку.

Первый скандал в округ «Трех евреев» разразился, когда он еще не был дописан. Я стал читать московским и кокетельским знакомым главы из него, дошло до КГБ, а от КГБ уже – до питерских героев романа, тесно связанных с этой славной организацией. Перебздеж был довольно сильный. Многих слушателей «Трех евреев» таскали в гэбуху, а потом стали вызывать просто моих шапочных знакомых – чтобы они раздобыли копию «Трех евреев». Я заканчивал роман, чувствуя «за мною след погони». Этот страх закодирован в самом «Трех евреях»: где-то там есть даже признание, что «Три еврея» пишет не Владимир Исаакович Соловьев, а Владимир Исаакович Страх. И это не метафора и не фигура речи, а постоянное чувство, что нагрянут и заберут неоконченную рукопись вместе с автором – не дадут закончить, поминай как звали. Свой роман-документ я тогда полагал более важным, чем его автора. Отсюда разные хитроумные способы его сохранения.

В том числе такой.

Когда «Три еврея» были закончены, я стал давать рукопись весьма выборочно друзьям. Многие мне помогли: Фазиль Искандер, который прочел роман за ночь – как потом Окуджава – общей поддержкой, потому что получить от лучшего русского прозаика записку, которая начиналась со слов «замечательная книга», было для автора не только лестно, но и важно. Юз Алешковский дал ряд важных композиционных советов. Но среди моих знакомцев был один с сомнительной репутацией, и все мои друзья в один голос не советовали давать ему рукопись. Я – дал. Сознательно. На всякий случай. Так «Три еврея» попали в гэбуху, а уже там с ними познакомились его питерские герои. Я жил уже в Москве, до меня доходили слухи о переполохе в Ленинграде. Но я не жалел о том, что сделал: КГБ – самое надежное место для хранения запретных сочинений.

До сих пор не знаю, кто пустил «Трех евреев» в самиздат: автор или гэбье? На волне этого второго скандала вокруг «Трех евреев» и нашего агентства «Соловьев – Клепи-

кова-пресс» мы и укатали – нам было предложено в десятидневный срок покинуть страну. Это был ультиматум: альтернативой западного выхода был восточный. Меня это вполне устраивало: по натуре я – спринтер, на долгое противостояние вряд ли способен. Да и силы неравные. Я был инакомыслом по отношению не только к Левиафану государства, но и к мафиозной либеральной интеллигентуре с двумя тайнами – кукишем в кармане и гэбэшными связями. Не говоря уж о том, что литература меня всегда волновала больше политики. А потому и книгу, к которой пишу это предисловие, мне интереснее теперь рассматривать скорее под лирическим, чем политическим углом.

В заговоре против «Трех евреев» парадоксальным, а на самом деле естественным образом сошлись интересы главных его антигероев – гэбухи и напрямую связанных с ней литераторов, в романе изображенных. Заговор этот отправился вслед за мной через океан и поначалу был успешен. Вплоть до того, что американский издатель, с наводки одного моего питерского земляка, а тот работал в издательстве редактором, отказался вернуть мне переданную еще из Москвы рукопись, полагая, что это единственный экземпляр. Утешало, что я сам вызвал огонь на себя, сам порвал с гэбэшной-писательской мафией, сам уничтожил за собой мосты.

В конце концов, однако, этот заговор сыграл на руку автору «Трех евреев»: находясь в этой инспирированной гэбухой и литераторами-гэбистами обструкции, отторгнутый родной словесностью, автор был вынужден на прорыв в мировую печать: сначала комментарии в ведущих американских газетах, а потом одна за другой политические триллеры, которые принесли нам с моим соавтором Еленой Клепиковой сказочные по нашим совковским понятиям гонорары и прочное реноме в тех странах, где эти книги были изданы.

Третий скандал разразился, когда в 1989-м я начал серийно публиковать «Трех евреев» в «Новом русском слове», а спустя год еще один – когда роман вышел в Нью-Йорке отдельной книжкой.

Пятый скандал – когда «Три еврея» вошли в мой питерский однотомник. Шестой – когда «Захаров» переиздал их в демократическом, то есть дешевом и доступном издании. И, наконец, седьмой – когда на гребне успеха «Post mortem», «РИПОЛ классик» переиздал оба романа о Бродском под одной обложкой, на которой значилось «Два шедевра о Бродском». Надеюсь, что и помещенные в этой юбилейной книге к 75-летию Бродского главы из «Трех евреев» не оставят читателя равнодушным.

Горят или не горят книги, это еще вопрос – до нас не дошло большинство пьес Эсхила, Софокла, Эврипида, Аристофана, очень выборочно – «История» и «Анналы» Тацита. Да мало ли! Что несомненно: книги устаревают, выдыхаются. «Трем евреям» это пока что не грозит еще и потому, что силы, в нем описанные, до сих пор пытаются взять реванш за историческое поражение. И скандалы, провоцируемые «Тремя евреями» – доказательство их не скажу вечности, но долговечности. Коли «Три еврея» не устарели за эти десятилетия, то, полагаю, их хватит на столетие вперед и они переживут одного из – их автора.

Все созданное человеком здравомыслящим затмится творениями испуганных.

Привет Платону.

1 мая 2001 года, 1 января 2015 года, Нью-Йорк

Три еврея, или Утешение в слезах – 1975. Главы о Бродском

Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый, последний год моей жизни. Хочу теперь все записать и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски.

Достоевский

Помимо всего прочего, изложить происшествие – значит перестать быть действующим лицом и превратиться в свидетеля, в то го, кто смотрит со стороны и рассказывает и уже ни к чему не причастен.

Борхес

Если можешь, если умеешь, делай новое, если нет, то прощайся с прошлым, так прощайся, чтобы сжечь это прошлое своим прощанием...

Мандельштам

Скрестим же с левой, вобравшей когти, правую лапу, согнувши в локте: жест получим, похожий на молот в серпе – и как черт Солохе, храбро покажем его эпохе, принявшей образ дурного сна.

ИБ

Глава 7

Такой герой. В поэме он молчит...

ИБ. Шествие

Поскольку мои отношения с Сашей Кушнером – один из главных стержней этого романа, то я не стану особенно спешить и забежать вперед, даже наоборот – оттяну его крупноплановое появление, чтобы пост фактумный анализ не полонил прозу, обозначив ее крен в одну сторону, в то время как проза все-таки моя, а не Сашина. Его ведомство стихи – пусть там и оправдывается, пусть отчитывается, пусть сводит счеты с прошлым, перед которым мы всю жизнь в долгу – только смерть освобождает нас от этого докучного кредитора.

А главный герой этого документального повествования – отсутствующий, и существование его фиктивно и недоказуемо, ибо

...другая жизнь и берег дальний...

Хотя главный герой отсутствует, он тайно присутствует – все помнят о нем, но делают вид, что забыли.

Глава 8

Есть даже такая гипотеза, вроде бы кем-то когда-то подтвержденная, что там – на дальних берегах – ему не пишется, не очень пишется, а то и вовсе не пишется, а если и пишется, то не так пишется, как здесь писалось, или, наоборот, точно так же – никаких изменений,

никакого творческого роста. Другая гипотеза еще более решительна и касается уже не творчества, а жизни – полная, мол, безнадега и никому не нужен, преподает в заштатном университете, часто пересекает океан и по мере возможности приближается к границам социалистического лагеря, куда с ностальгической тоской поглядывает.

– Ему плохо, – говорит мне Саша в сотый раз, словно зубную боль заговаривает. – Ему очень плохо, ему не может быть хорошо. С чего бы ему было хорошо? – спрашивает он и сам же отвечает: – Не с чего.

– Как я ему сочувствую, – говорит он мне в другой раз. – Вот ему не пишется, говорят. А для кого там писать? Кому мы там нужны? Мы здесь нужны – здесь наш читатель, и язык наш с нами.

Я пытаюсь возражать, что здесь человек не живет, а прозябает, тлеет, сходит на нет, как только осознает тщетность всех своих попыток. И чем ты оригинальнее, тем ненужнее – это закон, закон коллектива против индивидуума, любого. Отсюда сейчас уезжают гении, неудачники и авантюристы, что порою – вот несчастье! – совпадает в одном человеке и бьется в нем, как в предсмертной агонии сердце инфарктника. И неизвестно, что выплеснется в конце концов и выдержит ли человек это испытание.

Кем был здесь невидимый герой моего романа – до того, как очутился на дальних берегах?

Или кем он так боялся стать, спрашиваю я, возмущенный отторжением рыжего изгнанника из нашей среды, – и при жизни здесь, и теперь, когда его нет рядом с нами.

– Кем мы сделали его? Как Чацкого на фамусовском балу, общими усилиями, вроде бы даже снисходительно заботясь о нем и печась – и печалась – елико возможно о его судьбе? Кем? Городским сумасшедшим? А был гением...

О, эти подтасовки! Ему плохо, а нам – хорошо? А со стороны это так: два соседа по камере, указуя в зарешеченное окно на чудом вырвавшегося на волю, ему сочувствуют: бедный, несчастный, ходит там один неприкаянный и никому не нужный! Вот мы – все вместе, одной цепью скованы, к одному столбу привязаны, и тупая секира рубит нашу общую буйную голову. Ну как тут не прыгать от счастья до потолка и не жалеть горько о тех, кому выпала иная судьба?!

Мы привыкаем к самим себе – к нашему здешнему существованию, к нашему самоощущению. Мы говорим, что, когда станет совсем плохо, мы отсюда рванем. А мы заметим этот невидимый предел, когда нам будет совсем плохо? Разве можно заметить смерть?

А что, если он уже наступил, этот предел, но привычка мешает нам в этом признаться даже самим себе?

Не лучше ли тогда судить по другим – по жалкому и униженному существованию, которое влачат твои собратья по литературной суете?

И что может быть хуже для нас, чернильного (а не только иудейского) племени, чем Россия за четверть века до второго тысячелетия после Р. Х.?

Ах, Саша, Саша, при чем здесь Бродский?

Хотя – причем.

Осенью 1974 года я встретился в скромном номере ленинградской гостиницы «Октябрьская» с представителем одной всемирно известной организации – по его просьбе. Не могу сказать, что беседа наша протекала в дружеской атмосфере, зато в откровенной: ссорясь, оскорбляя друг друга, переходя на крик, мы пробеседовали так часа полтора, если мне не изменяет память. Ни о чем мы тогда не договорились, как и прежде, как и позже, хотя об опасных этих связях я еще напишу, они того заслуживают, опасные эти связи, которые Бог весть когда начались и Бог знает чем еще кончатся...

А сейчас о другом.

Собеседник мой тогда сказал мне:

– У нас есть сведения, что Бродскому в Америке плохо. Ему не пишется, он тоскует по родине и мечтает снова получить советское гражданство. Мы заинтересованы, чтобы об этом знали как можно больше людей.

– Не моя забота, – сказал я, загоня свой страх в пятки и дрожа от возмущения, – не моя забота. Я получаю зарплату не в Большом доме и на службе у вас не состою.

И до сих пор тяжелые сомнения мучат меня: кто кому подсказал, что Бродскому там плохо; даже если ему в самом деле плохо – разве в этом дело? Избави меня от подозрений, Господи.

Глава 9

Такое у меня смутное, брезжущее, но прочное, уже не покидающее меня ощущение, что жизнь пошла настоящая, беловая, драматическая и бесповоротная – без черновигов, без шпаргалок, без исправлений.

Я стал уже вычеркивать из своей записной книжки номера телефонов людей, которых не стало, – кто умер, как Семен Димант (97-52-76), кто убит, как Минас Аветисян (Ереван, 56-07-86), кто сидит, как Володя Марамзин (49-48-43), с кем в ссоре – на всю жизнь! – как с Сашей Кушнером (53-67-90), а кто уехал, как Бродский, а это все равно что умер, учитывая то безумное расстояние, которое пролегло между нами, – птица не пролетит, серый волк не проскачет, царевич не сыщет!

Я не помню уже его телефона. Когда три года назад мы прощались с ним, Лена шепнула мне, что навсегда, никогда больше не увидимся. Не только словами шепнула, но и не опытом, на который мы все горазды ссылаться, хотя, по глубокому моему убеждению, его нет ни у кого и никогда не было, а тем самым пророчески-слепым чутьем, которое нетнет да посещает нас, а чаще отказывает, не срабатывает, а еще чаще мы не верим орущему в нас голосу и стоим перед уходящей в небо стеной и не видим грядущего. Ночью как-то с обостренной какой-то точностью почувствовал – или почуял? – как собака, взял след своего будущего, – что не мирно умру, а буду убит и упаду в общую яму, как мои родственники, когда я только родился. Это было несколько месяцев назад – сон не сон, но кусочек свинца весь день, помню, свербил в моем сердце и ныл, ныл... Сейчас я забыл про тот запах беды – не ощущаю его. И тогда у Оси я ничего не понял и ничего не видел. Может быть, это инстинкт самосохранения – трагедию мы воспринимаем как истерику, вздох нам кажется романтическим, слезы притворными?

В Армении мы чуть ли не каждый день виделись с Миной Аветисяном: у него только что сгорела мастерская, и все его картины, и судьба его еще при жизни обозначилась остро, как туго обтянутый кожей лицевой костяк покойника. Минас никого не подозревал, чтобы не подозревать всех. Он приходил к нам с застывшей гримасой боли на лице, романтически обвязанный развевающимся шарфом, вступивший с судьбой в смертельный поединок. После пожара он набросился на работу, как зверь, торопился, ожидая еще одного подвоха судьбы, худшего. А я ему не верил, в его позе мне чудилась игра, я даже довольно дурно пошутил, что не он ли сам устроил злополучный тот пожар из рекламных соображений. Я шутил, а другие всерьез подозревали его в том, что он сам поджег свои картины. Во всяком случае, были такие слухи – не исключено, что их распространяли настоящие поджигатели. Он был лучшим армянским художником после Сарьяна, который подарил Минасу свои кисти; я любил картины Минасы и его самого, но не верил в то, что он знает свою судьбу. Кому дано это знание? Мне казалось тогда – никому. А потом, уже в Ленинграде, мы получили телеграмму. И до сих пор я не пойму, зачем было загадочному тому грузовику мчаться по тротуару за Миной, когда он вышел ночью из оперного театра? Зачем было размазывать бренное его тело по туфной, пористой стене ереванского дома?

Есть у моих друзей – и настоящих и бывших – чудовищный какой-то стоицизм, который оберегает их не только от беды, но и от сочувствия. Я ему подвержен не меньше других, хотя и стыжусь его. «Избежим трагических нот, чтоб избежать вранья» – я понимаю, это реакция на поэтическую профанацию трагедии, только что хуже: профанировать трагедию или не замечать ее? Делать вид, что не замечаешь? «Трагическое мироощущение тем плохо, что оно высокомерно» – с кем у вас здесь спор, Саша? С царями Эдипом и Лиром? С братьями Карамазовыми? С мировой и советской историей? С нашим столетием? С Мандельштамом, с Бродским? С самим собой?

А что может быть высокомернее оптимизма?

Знаю по себе.

Тогда, у Оси, за два дня до его отъезда, я сказал в ответ на Ленин шепот что-то усредненно-оптимистическое, стерто-обыденное, куда не входит ни смерть, ни вечная разлука, ни крестная мука. И вдруг сквозь меня прошло и обожгло ревнивым огнем, что вот стоят они двое – мой знакомец и моя жена – и слов им не надо, и так все ясно, а я стою в стороне и пытаюсь дрожащими руками уложить потрясающее событие – отъезд Бродского – в привычно-приличные рамки.

Ну а в самом деле, что было делать?

Что делать, когда такое, не вмещающееся в нас, большее, чем мы, происходит? Смерть, разлука...

Я это приравниваю и вижу недоуменную улыбку среднего европейца – как ему объяснить, что «в этом мире разлука – лишь прообраз иной»?

Как объяснить это не ему, а самим себе? От чего мы прячемся за слова, за жесты?.. Со стыдом вспоминаю, что, прощаясь, протянул ему руку, пытаюсь обыденным этим жестом снять напряжение и снизить значение события, свести на нет, – протянул ему руку, как протягивал всегда, когда мы прощались. А Лена подошла тогда и поцеловала его, хотя никогда прежде не целовала, и этот ее поцелуй был адекватен событию, равен ему, и до меня это дошло тут же. Я тоже поцеловал его, и впервые почувствовал, как чья-то рука бережно подержала бешено забившееся, как пойманная птица, мое сердце.

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 **(Первая глава о Бродском)**

Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это вопрос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще одного хорошего поэта, а в другом. ИБ производит модернизацию русской литературы и в смысле оснащения ее новыми средствами, и в смысле ее общего одухотворения. Поэт не имеет читателей, он создает их – образует, растит, толкает и форсирует их сознание.

С неизвестностью ИБ сознание русского читателя отброшено на несколько десятилетий назад – это количественно, а качественно еще дальше. Если бы его напечатали в этом, 1969 году, может быть, было бы уже поздно; через несколько лет будет совсем поздно: читатель должен расти вместе с поэтом, запаздывая, отставая, догоняя. ИБ надо узнавать по крайней мере с «Шестивия», которое, скажем, мне и, думаю, что и ему сейчас, не нравится. Хронологическое совпадение необходимо – трудно предположить, что развитие, происшедшее в таком большом поэте в течение десяти лет, читателем может быть осилено быстрее и как готовый результат. Известно даже, как Пушкин, обогнав читателей, остался к 30 годам без них, а уж тем более, когда вся работа происходит незримо от читателей: ИБ.

ИБ словно бы и это предчувствует – его стих оглушитель, резок, императивен, агрессивен и настойчив до назойливости. С читателем он сражается – это он за читателя сражается. А похоже это больше всего на битву Дон Кихота с ветряными мельницами...

Не знаю, побеждает ли всегда гений, да и что значит его победа? Победа – в товарищах, в соратниках, в учениках, в участии, в возглавлении национальной культуры. Этого – увы! – ему не дано. Через полвека его напечатают – ни ИБ, ни нас, его современников, не будет. Чем станет ИБ тогда? Загадочной Атлантидой, следов которой нет в других культурах? Таинственной страницей из навсегда утраченной, а точнее – и трагичнее – так и не написанной книги?

И напишет ли ее кто-нибудь и когда-нибудь?

Одна надежда – глухая, слепая, парадоксальная – на его ленинградских эпигонов: не послужит ли их плагиат к распространению ИБ, пусть в упрощенном и искаженном виде, к вящей его славе? В конце концов, литературный вор – это преемник и продолжатель...

Однажды я написал, что поэт исполняет роль, эскизно уже набросанную Историей. Это верно по отношению к Некрасову, Блоку, Маяковскому, Бальмонту, Евтушенко, и несколько их не умаляет. Это неверно по отношению к Пушкину, Тютчеву, Баратынскому, Мандельштаму, Пастернаку – они незаменимы, и не будь их, развитие и сознание наше было бы иным. Неверно это и по отношению к ИБ. Но достанет ли устного предания? Может быть, стихи ИБ необходимы читателю, который через пять лет напишет свой первый опус – все равно, в прозе или поэзии. Не зная этих стихов, он будет иным. В том-то и дело, что осознаваемое нами постфактум как столь необходимое – ввиду детерминистского устройства нашего мышления – появление того же Пушкина на самом деле – вот парадокс! – обратно пропорционально потребности в нем русского общества, и не появившись он, его отсутствия никто бы не обнаружил.

В этом смысле я и говорю о трагедии русской культуры в связи с тем, что в ней все-таки нет ИБ. Это иное, чем то, что не печатают Солженицына. Последнее скорее недоразумение и драматически воспринимается только в политическом плане.

Впрочем, трагедий нам не занимать, и означенная – лишь капля в море: снявши голову, по волосам не плачут.

Меня интересует не эмоциональная, а теоретическая сторона этой трагедии.

Речь идет об искусственной дискретности, о вынужденной прерывистости русской культуры. К чему приводит запоздалое знакомство даже не с гениями, а с талантливыми прозаиками, скажем, 20-х годов, можно судить по искаженной и все-таки вторичной судьбе талантливых писателей 60-х годов.

Спор ИБ – с великими, а не с пигмеями. Он должен был бы изменить и общее течение, и общий уровень нашей культуры, направить ее в мировое русло. Потому что весь XX век Россия поражает мир экзотикой – от «Половецких плясок» до необычных судеб Григория Мелехова, доктора Живаго и Ивана Денисовича. Но в том-то и дело, что все это черты России, а не культуры – обыденность, а не взлет. Недостаточно поражать, надо участвовать в общем движении.

Кстати, уж коли зашла речь о плясках, Сергей Дягилев это понял.

Масштаб его личности – мировой, посему и реформа балета – всемирная: от провинциальных опытов миriskusничества в «Русских сезонах» он, рассорившись с прежними друзьями, с Фокиным, с Бенуа, даже с Бакстом, перешел к реформе европейской, а потом – посмертно, с помощью Баланчина – и американской хореографии.

Здесь пора, наконец, вспомнить о Ломоносове – ИБ выступает в схожей роли; вот почему речь идет не только о поэзии, но и о культуре.

ИБ изменяет русский язык «от пейс до гениталий» – сочетание немислимое (не у других поэтов, а в русском языке до ИБ). Он объединяет мнимо высокое с мнимо низким, ибо

есть высоты, на которых иерархии не существует – уравнивает мозг с пахом, иврит с латынью. Его решительность потрясающая – так прыгают с парашютной вышки без парашюта. Пусть даже с парашютом, но впервые – как в пропасть, опрометью, закрыв глаза и затаив дыхание, замирая от страха и счастья и не надеясь, что над тобой раскроется спасительный купол. Пах и мозг, пейсы и гениталии, рай и параша – вещи столь же несовместные, как гений и злодейство; невозможные, непредставимые ни в русском языке, ни в советской поэзии, ни в нашем обществе.

Нужен гений, чтобы несовместное совместить, столкнуть и высечь между ними искру нового смысла.

Нужен гений, чтобы совместить гения и злодейство. Дополнительный гений – помимо того, что служит частью пушкинской антитезы.

Другое имя – Набоков с его трагическим уходом в чужой язык и не менее трагическим возвращением в русский – в русской «Лолите». Вот его полные скорбного торжества слова:

«Телодвижения, ужимки, ландшафты, томление деревьев, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная переключка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов, все это, а также все относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям, становится по-русски топорным, многословным и часто отвратительным в смысле стиля и ритма. Эта неувязка отражает основную разницу между зеленым русским литературным языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком английским: между гениальным, но еще недостаточно образованным, а иногда и достаточно безвкусным юношей, и маститым гением, соединяющим в себе запасы пестрого знания с полной свободой духа! Свобода духа! Все дыхание человечества в этом сочетании слов».

Слова эти имеют причиной не отчаяние, а возникли как результат – вот что мне пришлось преодолеть! Преодоление языка, толчки, чтобы сдвинуть слово с мертвой точки, чтобы не дать ему окостенеть, чтобы оно, как душа наша, отрывалось бы иногда от тела, от предмета, от вещей реальности. Вот о чем помышлял Осип Мандельштам, а вслед за ним ИБ. Эманация и эмансипация слова, его свободное парение между духом и материей – скрепящая культуры, делая русскому языку зарубежные прививки, ИБ завоевывает для родного языка свободу духа, ибо вчерашняя свобода – это сегодняшняя неволя.

Ввиду полного отрыва от читателя есть здесь своя опасность – полного отрыва от культуры: порою стихи ИБ кажутся переводом, а не подлинником, подстрочником, а не оригиналом. Дело, конечно, не только в головокружительном новаторстве ИБ, но и в традиционности русской культуры. Такие истории, кстати, в ней уже случались – художник XVIII века Иван Фирсов обладал первоклассным, европейским талантом, но России остался чужд и остался в ее культуре гадким утенком, в котором никто так и не признал прекрасного лебедя.

Альбинос, изгой, отелло (с маленькой буквы, конечно). Для ИБ спасение, что он поэт, а не живописец: он имеет дело со словом, от Дездемоны он требует не верности, но общедоступности. Латынь притягивается у него матом – как магнитом. В отличие от артистичного и блестящего рационализма Набокова ему в помощь еще и повышенный иудейский сенсуализм. Но отщепенство маячит на горизонте все равно – не моральное, а культурное, не политическое, а географическое: опасность полного и окончательного разрыва с русской культурой.

Бывает, инородное тело, оказавшись в чужой среде, взаимодействует с ней, а бывает – ею отвергается.

Мы помним, что произошло с Луи Вашканским, самоотверженным пациентом доктора Барнарда – при трансплантации сердца: отторжение.

Это уже трагедия поэта, а не человека. Другое дело, что гений, быть может, не подчиняется общим законам, а создает собственные. Но это еще вопрос и это уже другой вопрос, и решать его надо в другой главе – на конкретном материале стихов.

Глава 11. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ НЕ ПО ПЛУТАРХУ

Все были между собою взаимно знакомы, и все взаимно уважали друг друга.

Достоевский

Коротко говоря, человек, создавший мир в себе и носящий его, рано или поздно становится инородным телом в той среде, где он обитает. И на него начинают действовать все физические законы: сжатия, вытеснения, уничтожения.

ИБ

Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый; и нарекли ему имя: Исав.

Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; и наречено ему имя: Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились.

Дети выросли, и стал Исав человеком, искусным в звероловстве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах.

Быт. 25: 26-27

В Комарово, в Доме творчества, где мы пасли своих детей в зимние каникулы, мы каждый вечер собирались у кого-нибудь в комнате, пили, болтали, травили анекдоты. Мы – это целое сообщество, гордое своей связью, сплоченное, спаянное личным и идейным единством. Такой связи нет ни у кого из наших соседей, писателей-побратимов. Чуть ли не каждый из них тайно нам завидует и почтет за честь, если однажды будет приглашен на наши вечерние посиделки, о которых, конечно, всем известно. Мы редко кого и редко когда приглашаем, потому что боимся нарушить нашу целокупность, которая и так, если говорить начистоту, давно уже трещит по швам. Комаровский этот наш дружный зимний заезд демонстративен, хотя демонстрация, увы, отстала от того, что мы демонстрируем, запоздала по времени, и только на сторонний взгляд может показаться, что мы – это мы.

Наши здешние посиделки, я думаю, должны своей ежедневно стью вконец исчерпать наши отношения, потому что они факсимильно (и по составу, и по структуре) воспроизводят наши же дни рождения, но те бывают раз в году, по кругу, в сумме пять-шесть раз в году, а здесь день за днем, каждый вечер, а видимся – так по многу раз в день: лучший способ поссорить людей между собой – за ставить их жить совместной жизнью. Бог здесь ни при чем – строительство Вавилонской башни само по себе поссорило незадачливых строителей.

Наше единство – мнимое, наша общность – фиктивная. Мы обманываем самих себя, но, кажется, наш обман уже раскрыт нами – всеми вместе и каждым в отдельности. О Боже, как скучны стали наши дни рождения и как веселы бывали они прежде! Или только мне они скучны, и зря я говорю от имени других?

Или я сам себе скучен?

Передо мной маячит пример Бродского – он первым вырвался из этой элитарной целокупности: не потому, что по натуре перебежчик, а в силу конституционной своей специфики. Спустя несколько лет за ним последую и я, но по иной причине: трудно критику судить-рядить о литературе, предполагая, что вся она сосредоточена на территориальном пятачке

нашего арзамаса, а за его пределами хоть шаром покати, ничего нет, сплошная terra incognita. С некоторых пор меня начинает все больше раздражать, что мы замкнулись в своем кругу, читаем исключительно друг друга, волочимся за женами друг друга, а иногда так даже уводим их. Короче, варимся в собственном соку. Мы – это отечественная литература; кроме нас никого в ней больше нет.

Позже я пойму, что наш кружок – не единственный, их множество, и каждый претендует на единственность и уникальность. Тот же ахматовский квартет, к примеру, который на поверку оказался скорее крыловским. А ведь писал один из этой четверки, Бобышев:

...в череду утрат
Заходят Ося, Толя, Женя, Дима
Ахматовскими сиротами в ряд.
Лишь прямо, друг на друга не глядя
Четыре стихотворца-полюбовника.
Их дружба, как и жизнь, необратима.

Как оказалось – обратима, и пути Бродского, Наймана, Рейна и Бобышева разошлись и творчески, и человечески, и географически. Судьба их раскидала кого куда, никогда им уже всем вместе не встретиться, каждый для другого – утрата. Что естественно – литературные связи хороши в начальную пору, потом они превращаются в мафии, а входящие в них обречены на творческую инфантильность и литературный меркантилизм. «Чем тесней единенье, тем кромешней разрыв» – напишет один из этого ахматовско-крыловского квартета, Бродский. После распада их «вечного» союза каждый был наконец предоставлен самому себе...

Наш союз возник позже – ему еще есть время существовать, пусть мнимо, но «храня движенья вид». Поневоле, чтобы зарабатывать деньги, мне, критику, приходится читать больше, чем моим однопартийцам. Круг моих читательских и профессиональных интересов все более расширяется и отдаляется от их (или еще нашего?) круга. Что делать? Я уговариваю их заглянуть в рассказы Искандера и Аксенова, в статьи Аверинцева, в пьесы Вампилова, в роман Домбровского и повести Венедикта Ерофеева и Василия Белова – напрасно: как в старой оперетте, с незнакомыми они не знакомятся. Они читают самих себя – из сосуда в сосуд, из сосуда в сосуд, у них установились прочные критерии и незыблемые авторитеты – за счет истинных критериев и авторитетов, которые попорчены и преданы забвению.

Мы – это кремль, крепость, цитадель, центр вселенной. К высоким и неприступным нашим стенам примыкает посад – посадские не допущены до нас, но находятся под нашей влиятельной защитой, и следующий ряд фортификационных сооружений обороняет и нас, и их.

Я нарушаю средневековый этот этикет и, хоть больше всего раздражаюсь на своих, решаюсь поначалу напасть на посадских. Избираю легкую мишень – и целиться особо не надо, и доказывать свою правоту постфактум не придется – рецензия написана и опубликована.

Я слышу шепот за спиной, догадываюсь о нем, но ни один из моих дружков-приятелей вслух о рецензии не заговаривает, и заготовленный превентивно ответ так и пропадает втуне, чтобы вынырнуть из памяти только на этой странице:

– Я не из вашего детского сада...

Что самое опасное в таких замкнутых сообществах? Круговая порука, дружеская опека, дух аллилуйщины, комплиментарная зависимость друг от друга, а главное – отсутствие притока свежего воздуха. Вроде бы все мы ярые сторонники демократии и свободы, но внутри нашего арзамаса царят тоталитарные принципы, а диктатура умных людей ничуть не легче диктатуры идиотов.

Мы давно уже надоели друг другу и втайне друг другу завидуем – тот получил квартиру, а этот еще нет; у того вот-вот выходит книжка, а у этого отложили – да мало ли! Зависть, недоброжелательство, злоба – за фасадом тесной дружбы и взаимной любви.

Цеховым и мафиозным нашим связям помогает отечественный литературный фон – страна придает каждому из нас и всем вместе силы и самоуверенности, как Антею мать-земля. Где-нибудь на Мадагаскаре мы и вообще чувствовали бы себя гениями. Ленинград – что-то вроде Мадагаскара: Москва исключена из поля нашего литературного зрения, а уж тем более Иркутск и Вологда, где живут Вампилов и Белов. Наш кругозор сужен нашим кружком – естественно, тайная зависть и еле скрываемая враждебность связывают нас куда более тесно, чем мнимая дружба и фиктивная любовь.

Было бы даже странно и неправдоподобно, если бы вождизм, учительство, мелкобесие не расцвели в нашем литературном саду пышным цветом. Корни этого прискорбного явления следует, однако, искать не в эпохе, которую мы по невежеству либо легкомыслию окрестили эпохой культа личности – хотя какой там культ, когда сама личность отсутствовала, – но в русских литературных традициях. За невозможностью свободной политической, общественной и религиозной деятельности литература в XIX веке была использована в качестве лазейки для нее и контрабандой протаскивалась в ста тьи Белинского, в прозу Гоголя, в стихи Некрасова. Ладно с Белинским – он был чистой воды политиком, который к литературе относился меркантильно и пользовался ею исключительно в качестве камуфляжа и маскировки. А вот трагедия Гоголя, скажем, за ключалась именно в том, что религиозный проповедник потеснил, а потом и вытеснил в нем художника. Толстой и Достоевский довели до апогея учительский пафос русской литературы, особенно Толстой. Поэтому деятельность Чехова, которая протекала в узости между этими Сциллой и Харибдой нашей литературы, – настоящий раритет: он возвратил отечественную словесность в лоно культуры и эстетики, где она и находилась в пушкинские времена, а уже в гоголевские оказалась за его пределами. Ведь в чем основной конфликт между Чернью и Поэтом у Пушкина?

Чернь.

Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

Поэт.

Подите прочь – какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор – полезный труд!
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношение,

Жрецы ль у вас метлу берут?

Пушкин не был чужд политике: политика – часть нашей реальности и было бы опрометчиво закрывать ей вход в литературу. Я о другом – о проповедничестве, об учительстве, о вожизме, который смущает даже в таких великих книгах, как «Выбранные места из переписки с друзьями» или «Бодался теленок с дубом». Гумилев говорил Ахматовой: «Все наши писатели кончают тем, что начинают учительствовать. Как только ты заметишь в моем голосе учительские нотки – пожалуйста, сразу же меня отрави».

Естественно, учительский пафос больших наших писателей неизбежно должен был привести к мелкобесию малых литераторов. В Ленинграде – за неимением, с отъездом Бродского, больших писателей – мелкие бесы и ловцы душ стали плодиться с кошачьей скоростью. Разговорные таланты стали цениться выше литературных: читать – труд, слушать – отрада. Актерская поза, манера держаться, налаженная дикция, ораторский пафос и отработанная до тонкостей система приемов – вот вам портрет мелкого беса. Истинные критерии давным-давно утрачены, официальным учителям никто уже не верит, вакантное место занимает наиболее ловкий самозванец – проблема самозванства злободневна в нашей истории на разных уровнях, трон есть лишь ее частное проявление.

Одно счастье – в Ленинграде таких самозванцев-бесов десятка два, если не больше, а потому единоличная диктатура все-таки невозможна. В первоначальном наброске «Романа с эпиграфами» я описал одного из таких дядек нашей литературы и обозначил его Пришибеевым. Сейчас я его изгоняю со страниц романа, дабы не засорять прозу и не обижать человека².

Аудитория мелкого беса по преимуществу женская, как, кстати, и все наше русское общество последние два столетия. «Если бы мельница дел общественных меньше вертелась от вееров, дела шли прямее и однообразнее...» – писал русский предшественник Стриндберга, автор «Горя от ума», самого антифеминистского произведения в нашей литературе. Расчет мелкого беса на женщину оправдан ее всемогуществом – если не на политической, то на общественной ниве несомненно. Общественное мнение – мужское по авторству и женское по распространению. Мелкобесие, таким образом, носит частично сексуальный характер; особенно очевидно это при учете института старых дев и дочернего ему предприятия недоуестественных, хотя и замужних женщин. Представьте себе старую деву, для которой ее редакторское место в журнале или в издательстве – единственная форма ее жизни и ее женской власти, кстати, куда более обширной, чем семейная власть женщины.

По-настоящему мелкобесие расцвело у нас с отъездом Бродского: что-то было в нем, что мешало им резвиться и себя тешить и услаждать – что? Они еще припишут его к своему полку, если ему удастся доказать себя на международной сцене.

Я понимаю, почему так важно Сальери избавиться самому и избавить свою братию от Моцарта: тот нарушает иерархию, смещает ценностную шкалу, путает карты, путается под ногами. Почему так подробен Пушкин, думая о Сальери, так пристален и печален? Он пытается понять своих друзей, скрыто его ненавидящих, – Вяземского, Катенина, Баратынского...

А если бы «Моцарта и Сальери» написал не Пушкин, а Катенин? Что это было бы? Оправдание убийства или апология ремесла? Или апология посредственности?

Любой коллектив, цех, мафия, противопоставляя себя окрестному миру и возвышаясь над ним, пользуются в том числе и невозможностью сравнения, отсутствием гласности и

² На эту позднюю сноску я вынужден тем, что этот «Пришибеев» продолжает упоминаться в «Трех евреях» и читатели ошибочно подыскивают ему прототипов – Вацуру, Панченко и других весьма достойных историков литературы. А потому пора раскрыть псевдоним: Пришибеев – это Яша Гордин. Он же – Скалозуб. Не путать с зубоскалом.

конкуренции. Запретный плод сладок – подпольный или полуподпольный характер оппозиционных высказываний придает им особую привлекательность и дополнительный вес в тоталитарном обществе. К тому же и власть предрекшая, окончательно усомнившись в официальной идеологии, своими неопасными преследованиями неофициально признают за этой фрондой право на существование и некий статус, мало того – на всякий случай заигрывают с ней, предполагая в ней возможную преемницу. Я говорю не о диссидентстве, но о вполне официальной карьере, чутьчуть приправленной диссидентством: при столкновении с властями оно резко преуменьшается – и резко преувеличивается при встрече с чернью. Негласный договор между волком и зайцем: один подтверждает существование другого. Угрозы нет ни для той, ни для другой стороны, но есть видимость угрозы, которая создает видимость деятельности, а та в свою очередь – видимость успеха.

Столь выгодный для цеховой посредственности общий фон – и в самом деле весьма убогий – становится с каждым отъездом все выгоднее и выгоднее. Помимо отъездов за границу, уезжают из Ленинграда в Москву: Битов, Найман, Рейн, Соловьев с Клепиковой. Я вычеркнул из «Романа с эпиграфами» моего приятеля Пришибеева, дабы роман не занесло в мелководье мелкобесия, но несколько слов о его популяризаторской деятельности все же скажу, ибо лица необщим выраженьем он не обладает и легко сойдет за любого другого модного литератора-историка.

Впрочем, какая там литература – не ночевала. «Пришибеев» выпрямляет чьи-то ушедшие судьбы, и все они – скажем, декабристы, или Крылов, или Пушкин, или Татищев – превращаются под непреклонным его пером в маленьких оловянных солдатиков с оттопыренными ушами, вырезанными, как у Хлопуши, ноздрями и красными, как елдак, крутыми лбами. «Пришибеев» населяет нашу литературу своими покорными двойниками, убежденный, что ему на роду написано открыть замутненному взору русских читателей подлинный облик русских классиков.

И вот уже Пушкин гибнет в столкновении ни больше ни меньше как с русской историей – будто не было ни слабоватой на передок Натали Гончаровой, ни многочисленных друзей-сальери, ни людской злобы, ни праздного сплетничества, ни назойливой и унижительной царевой опеки и связанной с ней общественной клеветы, ни самого Пушкина, вконец запутавшегося в самом себе и в своей жизни! Этого ли недостаточно, чтобы уложить человека живьем в гроб? Бродский хорошо как-то сказал, что дуэль Пушкина – стихотворение, в конце которого раздастся выстрел, даже два, и это как бы парная рифма. А «Пришибеев», упустив пушкинскую судьбу, но учтя острое желание публики превратить великого человека в маленький домашний идол, отчужденную форму пушкинского самоубийства истолковал в плане политического убийства, от которого, мол, и мы не застрахованы. Две-три поверхностные ассоциации века минувшего с веком нынешним и несколько суждений по аналогии оказались манком либо фата-морганой для политически легко возбудимого советского читателя с оппозиционным кукишем в кармане.

Культуртрегерскую свою деятельность «Пришибеев» выдает не только за художественную – мало того! – за мессианскую, устными беседами добирая то, что не собрал, стуча на машинке. Официальное непризнание – его печатают, но, скажем, не рецензируют или еще не приняли в Союз писателей, что-нибудь в этом роде – добавляет к его небольшой славе ореол мученичества – тоже небольшой, но в сумме получается достаточно. В эпоху тотального невежества знание им сотни фамилий из русской истории, десятка стихов наизусть и несколько десятков дат – кто в каком веке жил и кто чьим был современником – делает из него эрудита, полигистора, энциклопедиста. Даже в тесном нашем дружеском кругу он любит произнести несколько стихотворных строчек и сделать паузу, давая нам возможность отгадать автора. Он искренне радуется, когда в этой викторине мы проявляем свою немошь и с треском проваливаемся.

Учительский пафос в конце концов увлечет и Сашу, хотя его тихой музе пьедестальный вождизм более всего противопоказан, ибо самое оригинальное свойство его стиха – это полемическое и программное отрицание оригинальности его героя-автора, нивелировка и деперсонализация авторского персонажа-наместника, попытка обрести поэтическую индивидуальность через уничтожение индивидуальности человеческой, стать поэтом, сняв отличие поэта от непоэта, уравнив поэта с читателем.

Об этом чуть позже (или ниже), а сейчас о подпольном вожде молодой ленинградской интеллигенции, мелком бесе крупных габаритов Лидии Яковлевне Гинзбург. Без нее портрет литературного Ленинграда был бы неполным.

Многие ее не признают, кто-то из прежних ее учеников против нее бунтует, но так и должно вождю – иметь отступников.

Старая толстая еврейка, когда-то – предполагаю – красивая, сейчас – бесформенная, до сих пор страстная лесбиянка, и ее любовные конфликты с домработницей – сюжет для небольшого рассказа. Кажется, она была самой юной формалисткой, соратницей – или, скорее, все-таки ученицей? – Тынянова, Эйхенбаума, Шкловского. Будто бы – такова легенда – она по молодости лет не успела проявиться, а потом формалистов разгромили и началось литературное прозябание, и только в 60-е и 70-е годы смогла она издать свои книги о поэзии и прозе. Будто бы, с одной стороны, признанные, публикуемые, существующие в сознании читателя, хоть и опальные, Тынянов «со товарищи», а с другой – железная дверь, которая захлопнулась на этих именах как раз перед носом Лидии Яковлевны. И сколько лет она ждала, ждала без всякой надежды, пока перед ней не отворилась эта безжалостная дверь – нежданно-негаданно, случайно, чудом. И квартира Лидии Яковлевны на канале Грибоедова стала Меккой – к ней шли на поклон, как до этого к Ахматовой, и Лидия Яковлевна вроде бы недовольно, а на самом деле – самодовольно пеняла, что, мол, молодежь должна спорить, оскорблять, забывать стариков, чтобы было движение, а не слушать, раскрыв рты, про блаженные двадцатые, как слушают ее, а лучше бы – опровергали! А по сути была монологомисткой и любую попытку спора воспринимала как наскок и претензию. Делаю здесь историческую сноску: политический матриархат в традициях Петербурга, где 70 лет кряду – в XVIII веке – на русском престоле восседали бабы.

Однако все, что я здесь рассказал о Лидии Яковлевне, относится к разряду легенд, до которых мы охочи ввиду очевидной нехватки у нас фактов. Но даже когда они есть, мы предпочитаем легенды – уж так устроены! А реальность я подозреваю – и прозреваю! – иную и, как Генрих Шлиман, рою свою траншею в моем Гиссарлыке, имя которому – Ленинград.

Не думаю, чтобы Лидия Яковлевна опоздала родиться – просто Бог дал ей меньше, чем тем, чей далекий и ослабленный временем отсвет создает сейчас вокруг ее головы сияющий нимб. Те писали второпях, конспективно, скорописью. Особенно Тынянов: торопился, словно предчувствовал, что оборвется ниточка; спешил, потому что не поспевал за крылатыми своими мыслями, которым вел стенограмму, до сих пор как следует не расшифрованную. Из брошенного второпях и ненароком кем-нибудь из них наблюдения Лидия Яковлевна сочиняла пухлое исследование, выстраивала концепцию, потрясая мозги юных своих малообразованных современников.

Вот ее книга «О психологической прозе» с главным тезисом – влияние на официальную литературу околотитулярной продукции: письмо, газета, документ, дневник. Обо всем этом в книге Тынянова «Архаисты и новаторы» (1929) пара блестящих абзацев – вполне достаточно. Добавления Лидии Яковлевны – не развитие тыняновской мысли, а украшения к ней, иллюстрации, побрякушки, завитушки. Их могло быть больше, меньше, могло не быть вовсе, они необязательны, скрывают остои идеи: литературоведческое барокко.

Лидия Яковлевна не соратница и даже не ученица формалистов, но их эпигонка – она разжевывает, разъясняет, популяризирует и неизбежно симплифицирует, а значит, искажает – то, что теми было открыто в двадцатые годы.

Увы, это неизменный закон: истина начинает свой путь с парадокса, а кончает трюизмом.

Лучше всех об этом написал Баратынский:

Сначала мысль, воплощена
В поэму сжатую поэта,
Как дева юная, темна
Для невнимательного света;
Потом, осмелившись, она
Уже увертлива, речиста,
Со всех сторон своих видна,
Как искушенная жена
В свободной позе романиста;
Болтуня старая, затем
Она, подъемля крик нахальный,
Плодит в полемике журнальной
Давно уж ведомое всем.

Не думаю, что Лидию Яковлевну следует подвести под последнюю категорию – туда скорее надо определить «Пришибеева», эту тень тени. Ибо Лидия Яковлевна, хотя тоже тень, но отбрасываемая реальной фигурой, даже несколькими, – густая тень. А может ли отбрасывать тень – тень? Вот еще причина, почему мне показался лишним на этих страницах «Пришибеев» – ввиду его нереальности, несмотря на множественность. Таких, как он, много, но они уж совсем лишены индивидуального, оригинального, личного. Они есть и их нет. Покончим, однако, наконец с Лилией Яковлевной.

Она и в самом деле удачно вклинилась бы в середину стихотворения Баратынского – не дева темная, но и не старая болтуня: искушенная жена, место достаточно почетное. Однако ее путь пересекся не только с формалистами. Вторая памятная встреча ее жизни – с блестящим профессором Г. А. Гуковским, у которого она заимствовала схему литературного прогресса – вроде марксовой теории экономического, и помножив формализм 20-х годов на социологию 30-х, она выплыла с этим чудовищным гибридом на литературную сцену 60-х, а тогдашняя аудитория слопала бы и не то, ибо за долгие годы вынужденной диеты, а фактически голода – с середины 30-х до середины 50-х – проголодалась настолько, что поедом ела без разбора все, что давали.

Бродский как-то слишком быстро, решительно и бесповоротно от Лидии Яковлевны отвалил – был неумен, неуместен, насмешлив, романтичен и бестактен. Да и потом он был из «волшебного хора» Ахматовой, а после Ахматовой и по сравнению с ее московской подругой Надеждой Яковлевной Мандельштам, воспоминания которой вместе со стихами Бродского литературные вершины нашего безвременья, наша «Яковлевна» выглядела заштатно, вторично и даже пародийно, а ее претензии, пусть подкрепленные в самом деле иногда интересными дневниковыми страничками, которые она читала нам вслух, – все-таки необоснованными. Тем не менее Саша прилепился к Лидии Яковлевне сразу и навсегда, и похоже, что и она его как-то из остальных выделила и литературно усыновила, резко противопоставив другому сыну, в ее представлении – блудному, хотя он сам, скорее всего, даже не подозревал об этом родстве, – Бродскому. В Комарово мы с ней в конце концов поссорились из-за него – смешно сказать, не из-за него самого и не из-за его стихов, а из-за его места в русской

литературе, в первый ряд которой Лидия Яковлевна его не допускала. Однако именно она тогда мне пророчески сказала, что любить обоих невозможно – Сашу и Осю:

– Вот увидите, с Сашей вы расстанетесь, потому что вам придется выбирать, и вы выберете Бродского.

– А у вас проблемы выбора не было?

У Лидии Яковлевны, несомненно, есть чувство юмора.

– Я выбрала, что осталось, – сказала она.

Я был помоложе самых молодых ее учеников, пристал к этой компании позже других; как говорит деревенский дед Федя-пердунок – говно приبلудное. Выслушивать монотонные учительские монологи Лидии Яковлевны у меня терпения не хватило – вслед за Бродским я от нее на своей утлой лодчонке отчалил, а потом постепенно, как колобок, и от всей честной компании, от всего корабля ленинградской литературы: адье!

А с Бродским они поступили так – настойчиво и разнообразно стали его отрицать. Они согласились бы ему покровительствовать, ежели бы он, подчинившись, пусть формально, их диктату и установленной ими иерархии, встал бы под сиятельную их защиту, в ко торой нуждался. В нем, однако, сработал безошибочный его инстинкт творческого выживания, самосохранения. Он понимал, что рвать надо с ближними, которые на поверку самые дальние, дальше некуда, – и рвать немедленно, пока тебя не затянуло, пока они под видом любви и опеки не окрутили тебя с ног до головы патокой, елеем, дружелюбием, цеховыми связями, которые еще неизвестно – больше дают или больше отымают? Бродский отвалил, нанеся обиду, и был предан анафеме, которая заключалась в замалчивании. Принцип простой: ты не с нами – значит, тебя нет. А это как раз то, что Бродскому было позарез необходимо: доказывать свое существование не только советской власти, но и мнимым ее оппонентам. Бродский взялся за дело горячо и в несколько лет одолел барьер несовместимости, присоединившись к высокому ряду: Державин – Баратынский – Пушкин – Тютчев – Пастернак – Мандельштам. Если так дальше пойдет, он и в мировую литературу проникнет – первым из русских поэтов.

Бродский действовал по инстинкту, а Саша потом попытается нагнать его – естественно, в отечественных пределах – по стратегии.

Здесь их главное отличие при внешнем сходстве – у обоих неистребимый инстинкт самосохранения. Но у одного житейский – у Саши, а у другого – литературный. Саша ничем не пожертвует из своей жизни ради своей судьбы, а Бродский судьбой ведом, и единственно ею: сыщется ли на свете лучший проводник? Вроде бы он все делал во вред себе, а выходило на пользу. А Саше – все на пользу, хотя по сути во вред; но даже если он это понимает, то не принимает в расчет. Ося и в ссылке побывал, и в тюрьме, и в психушке, и каждый его шаг и чих на учете в КГБ, и стихов не печатали, и со всеми ссорился – а выиграл!

А у Саши – психология отличника, в поэзии он Молчалин, старателен, рационален, аккуратен, все до мелочей продумано – все его любят, все печатают, у него всего одно непечатное стихотворение, он добился признания и славы, с ним считаются – и все равно ощущение неудачи, что-то не получилось, всю жизнь старался, корпел, выстраивал какую-то там цепь электропередач, а вот не сработало, не замкнулось, контрольная лампочка не горит, и в чем дело – непонятно; оттого мрачен, складочка у рта какая-то все выдает – не трагедию, а скверность. Но не заново же все начинать – поздно, хотя обидно...

У Саши жизненный инстинкт самосохранения, у Бродского – инстинкт судьбы.

У Бродского инстинкт литературной судьбы, а у Саши – литературной карьеры.

Гениальный импровизатор – и старательный версификатор.

Только можно ли упрекать человека, что он не поэт Божьей милостью, а профессиональный стихотворец, добившийся всего сам, трудом и стратегией?

Бродский зарабатывал славу у вечности, игнорируя отечественные условия существования, – Саша предпочитал синицу в руке журавлю в небе. Думал ли Саша о вечности? Вна-

чале она в его расчеты не входила, и был он о своих возможностях скромного мнения, но постепенно, уяснив технику успеха, занялся ею всерьез – ежели можно обхитрить современников, то почему не потомков? Почему потомки должны быть умнее современников? Да и не до нас им будет – у них своих будет дел по горло. А потому наши оценки окончательные, потомки примут их на веру, как мы приняли на веру оценки наших предков.

С отъездом Бродского честолюбивые Сашины мечты обострились и удлинились: он лишился – так казалось ему, не ступавшему ногой дальше Праги – соперника, конкурента, врага. Так гипнотизировало Сашу пространство:

Жить в городе другом – как бы не жить,
При жизни смерть дана, зовется – расстоянием... —

вот он и счел своего противника умерщвленным расстоянием.

Какое счастье, что это все-таки не так.

Плюс сплетни: Бродскому плохо, ему не пишется, поэт без родины – не поэт.

Когда начали отпускать евреев, Саша страшно перепугался:

– Нам перестанут доверять!

– А так будто доверяют?

– Попомните мои слова: нам будет хуже!

– Саша, о ком все-таки речь? Пусть будет хуже, но не так все-таки, как тем, кто вынужден уехать, для кого эта страна – тюрьма. Разве это не счастье, что они получили свободу? Я говорю не только о евреях, но о всех, кто загнан в угол. Им-то, уж наверное, будет лучше, потому что так плохо, как здесь, просто не может быть.

– Не знаю, не знаю – про них не знаю. Хотя очень сомневаюсь, что им будет лучше там, чем здесь, потому что едут-то в основном неудачники – здесь они все свои беды сваливали на государство, Россия у них была козлом отпущения, а там они с кого спрашивать будут?

А нам – мы же остаемся! – нам будет еще хуже, чем им!

– Будет хуже – так уедем вслед за ними!

Нам и в самом деле стало хуже – потому что мы стали хуже. Подавали заявления самые отважные – а для этого и в самом деле нужна была отвага, – и их среди нас не становилось. Уезжали не неудачники – разные, в том числе неудачники, но вместе с ними и лучшие среди нас; зато те, кто оставался, становились хуже, вынужденные приспособливаться к резко меняющимся условиям. А политическая, общественная и культурная ситуация в стране и в самом деле менялась стремительно и катастрофически – мы физически не успеваем зафиксировать одно изменение, как на смену ему уже грядет следующее. Повылазили наружу те, кто прежде прятался в щелях и головы по своему убожеству не поднимал – свято место пусто не бывает. Я говорю не только об официальных синекурах, меньше всего о них, они редко доставались евреям, а уж коли доставались, то за столь дорогую цену, что ни о каких отъездах и помыслить было невозможно, – скорее о нашей общественной жизни, которая мельчала, оскудевала, пока и вовсе не сошла на нет. Отъезды порождали ощущение все увеличивающейся пустоты внутри нас – в государстве, в литературе, в каждом по отдельности, – и бороться с этой пустотой становилось все труднее. Циркулировал тогда анекдот об отъезжающем еврее, который, стоя уже на подножке вагона, просит передать последнему, кто будет уезжать, чтобы не забыл погасить свет.

Вся беда в том, что свет погас сам и задолго до того, как отсюда уехал последний еврей. Да и не в евреях дело. Не в одних евреях.

Мы сидим в кромешной тьме и не видим ни зги.

Лично для меня два пограничных столба отделяют одно время от другого: отъезд Бродского, 1972 год, и арест Володи Марамзина, 1974 год, – между ними нейтральная полоса. Мы с Сашей оказались по разные ее стороны.

Саша обрадовался отъезду Бродского – убери соблазн, и греха не будет или, точнее, коли уж пользоваться излюбленными мною поговорками, с глаз долой, из сердца вон! И в самом деле поначалу Саша упивался этим странным выигрышем у отсутствующего противника – как ему было догадаться, что этот отъезд для него как для поэта губителен.

Почему так испугала Сашу эмиграция? Только ли потому, что к оставшимся евреям будут хуже относиться?

Впервые за много лет евреи (а с ними и неевреи) получили право выбора – взамен права на приспособление.

Момент выбора – самый гениальный – нет, не в жизни, в человеческой судьбе. Право выбора делает человека свободным.

В детстве я мучительно переживал детерминистскую свою зависимость от Бога, мелочную Его опеку над собой. Не знал, как проверить, свободен я или нет. Поверну направо – а вдруг это Бог предназначил мне повернуть направо? Знать бы, что мне предначертано, и сделать наоборот!

Нам была предначертана здешняя жизнь – злым и жестокосердым нашим Богом, испытующим наши сердца на прочность.

И выбора не было, даже надежды на выбор не было – функции Бога были присвоены тоталитарным государством, и единственное, что оставалось, – это приспособливаться к подневольным условиям здешнего существования, успокаивая себя тем, что могло быть хуже, живи мы, скажем, в сталинские времена. Выбора не было, и вдруг выбор, как манна небесная, свалился на наши головы. А Саше от этого стало жить тяжелее – слишком далеко он зашел в сервиллизме, не было пути назад: прочно и обстоятельно устраивался он в этой жизни, принимая ее за обязательную, единственную, неотменную и вечную – ныне и присно.

Мне было все-таки легче, я был на несколько лет моложе, неустроеннее, голоднее, легкомысленнее и, не собираясь никуда уезжать, обрадовался чужим отъездам как своей свободе.

Это легко понять и трудно объяснить.

Саша родился в тридцать шестом, Бродский – в сороковом, я – в сорок втором. Я сейчас даже не о том, что рожденные в «года глухие» русской истории в самих уже своих генах, в крови, в гемоглобине несут неосознанный страх и покорность. Я сейчас о другом: Саша на шесть лет дольше меня жил при Сталине, а это очень много.

Сейчас все боятся, а такие, как Саша, тайно мечтают, что эта дверь наружу может ненадолго захлопнуться – и все снова окажутся в клетке. Опаска эта приводит к панике и суеде, и многие уезжают преждевременно, до того как пришла их пора, без нужды, из перестраховки. Но эти опасения понятны, объяснимы – это и в самом деле странно, что тюрьму можно покинуть по собственному желанию, причем (вот парадокс!) самым бесправным ее обитателям. Словно Бог позаботился об этом равновесии. Хотя какое там равновесие! Согласились бы критики еврейской эмиграции – «вам есть где жить, нам есть где умирать!» – поменяться судьбой с евреями? Всей судьбой, а не только случайной этой привилегией?

Естественно, право эмиграции должно быть всеобщим, хотя сама по себе эмиграция противоречит драконовским законам нашего государства. Нельзя поддерживать давление в сообщающихся сосудах, если один из них дал течь.

Я, однако, спокоен: запереть эту дверь уже невозможно – по той причине, что ее больше не существует; не хозяева ее открыли, а гости выломали, сытые по горло опасным и затянувшимся гостеприимством своих хозяев, к счастью, временных.

Говоря так, я не противопоставляю евреев русским. Я говорю об отъезжающих и остающихся, независимо от происхождения тех и других.

Тот же Саша – плоть от плоти этой страны: он вырос здесь, ища компромисс между «можно» и «нельзя», и иной жизни не представляет и боится, ибо иная жизнь – не обязательно там, но и здесь – потребовала бы полной душевной перестройки, пришлось бы начинать все сначала. А Саша живет прежними завоеваниями, процентами с добытой славы. Свободной конкуренции он боится, потому что вся его жизнь – это избегание проблемы выбора даже в тех ограниченных пределах, в которые эта проблема втиснута у нас в стране. Саша – изоляционист, и будь его воля, он бы самолично запретил эмиграцию.

Здесь свой денежный курс, условный и не имеющий отношения ни к международной валютной системе, ни к ценностной шкале, ни к истинной иерархии. И Сашей в этой условной денежной системе, установленной свыше и произвольно, честным трудом накоплен некий капитал, и вот оказывается, что эти деньги – трын-трава, бумажки, как в волшебном магазине у Воланда, условные знаки, и цена им – ломаный грош. Как только кончается полная изоляция государства – а она кончилась с началом эмиграции (не еврейской, а литературной), – мгновенно обесценивается его автономный ценностный курс, ибо связь, даже минимальная, требует приведения отечественной системы в соответствие с мировой.

Я сейчас говорю не об экономике, но о литературе.

Когда из Советского Союза был изгнан Солженицын, а из Ленинграда Бродский, Саша, как и все мы, почувствовал сейсмический толчок, но вместо того чтобы снести накопленный им капитал из обесцененных денег в макулатурный пункт и начать жизнь сначала, продолжал с еще большим рвением собирать разноцветные бумажки, которые когда-то считались деньгами. Он испугался и засуетился – таким трудом давшаяся ему слава текла сквозь пальцы и не было сил удержать ее.

Я ловлю себя сейчас на том, что мой подбор свидетельств и аргументов слишком тенденциозный, односторонний, умышленный. Справедливости ради скажу, что Саша приобрел себе место и имя в литературе честным путем, я в этом уверен. Ему крупно повезло: он вытащил счастливый билет, вышел один сборник его стихов, другой, третий – это и в самом деле было похоже на чудо, потому что в тех старых своих стихах Саша шел своей дорогой, не оглядываясь по сторонам и не обращая внимания на широкую магистраль, которая гостеприимно расстилалась перед ним и по которой, дружно печатая шаг, маршировала в одном направлении официальная советская поэзия, а в противоположном, ей навстречу, но по тому же хорошо укатанному шоссе – фрондерская. Парадокс Саши, однако, в том, что то, что шло ему прежде на пользу, сейчас – во вред. Личное свое везение, случайность, оговорку судьбы он счел закономерностью, возвел в закон и стал все делать – и с каждым днем все больше и больше, – чтобы удержать чудо судьбы в своих руках. Он сделал для себя счастливое исключение из всеобщего правила, хотя как раз это исключение своей случайностью и кратковременностью доказывало неизбежность правила. Как Фауст, мгновению он решил придать черты вечности – так возникла теория микроклимата: всем плохо, а мне хорошо, значит, моя форма жизни – идеальная, и если бы все жили, как я, то всем было бы хорошо, как мне.

Кончилось это тем, что феномен судьбы он подменил стратегией ума.

Такова механика производства из тихих еврейских мальчиков государственных поэтов.

Стихи Саши теряли свою оригинальность и становились все хуже и хуже – и по государственному в них пафосу, и по их качеству: Саша дублировал либо свои прежние стихи, либо чужие, в том числе Бродского, пытаясь в благополучную свою судьбу круглого отличника вписать, втянуть, насильно втащить трагическую судьбу отщепенца и изгнанника. Доживу ли я до того момента, когда он и будущую славу Бродского приспособит к своим нуждам?

После Сашиных стихов к стихам Бродского припадаешь как к источнику: после копии – к оригиналу.

Бродский был первооткрывателем, Саша популяризатором. При нормальной и открытой литературной ситуации все бы встало на свои места. Но когда оригинал держат втайне от читателя, репродукция выдает себя за оригинал, а настоящий оригинал, будь он даже напечатан когда-нибудь, сочтен будет копией. Это страшная подмена настоящего мнимым, косматого Исава – гладким Иаковом...

Однако даже не в этом суть.

В Саше от природы не было трагизма. Он редчайшее явление советской действительности – удачник, и его судьба – пир во время чумы.

Но из истории литературы Саша знал, что не бывает счастливых поэтов, что счастье хорошо в жизни и немыслимо в поэзии.

Улыбке я предпочитаю смех – в нем трагическая изнанка и горький осадок.

Наперекор фактам, наперекор жизни, наперекор истории Саша таки изобрел некую теорию о незамутненно-счастливых поэтах и чуть ли не литературный ряд из них выстроил – от Дельвига и Фета до Ахматовой и Кузмина – в пику всяким там Мандельштамам и Цветаевым, и к этому классическому ряду сам пристроился с восторгом в душе и улыбкой на устах.

Как нас раздражала эта его улыбка на все случаи жизни – умирал ли кто у нас из близких либо доблестные наши войска вступали в столицу Чехословакии, да мало ли! Человек окружен трагическим кольцом, а Саша предпочитал этого не замечать и был неунывающим оптимистом во что бы то ни стало, что играло не последнюю роль в той если не любви, то терпимости, с которой относились к нему городские власти, ибо официальное бодрчество он подтверждал добровольно и утонченно.

Любая жалоба для него – хула на действительность, любая трагедия – натяжка и поза, пессимизм – отказ от гармонии и повреждение миропорядка.

Упаси меня, Боже, я не за счастье его осуждаю, а за неверие в чужое несчастье, за отрицание чужой трагедии, за несочувствие, за равнодушие, за защитную броню, за стальной характер и за далеко не всегда уместный оптимизм.

Сашино довольство жизнью вошло у нас в поговорку. Давид Яковлевич Дар рассказывал как-то – мне при Саше, – как в пору литературного своего дебюта Саша к нему таким петушком приходил, подпрыгивал:

– Что это вы, Саша, все такой радостный – хоть бы тень по лицу пробежала?

– А зачем тень, Давид Яковлевич, неоткуда тени взяться, все хорошо.

– Ну так уж и все – неужели вы всем довольны, Саша?

– Всем, Давид Яковлевич, всем!

– А вот вы роста маленького, женщины вас не любят, наверное...

– Любят, Давид Яковлевич, я только что женился на красавице и выше меня ростом, представляете!

– А вот стихи, Саша, небось, не все печатают?

– Все, Давид Яковлевич, сейчас сборник выходит – почти все, что написал, все вошло.

Давид Яковлевич не выдерживает:

– Ну а жидом, Саша, вас кто-нибудь, черт побери, называл?

– Нет, Давид Яковлевич, никто ни разу, никогда.

– А вдруг назовут?

– Не назовут, Давид Яковлевич, я не чувствую себя евреем. Я только по паспорту еврей, а так нет. Да я и не люблю евреев, мне даже обидно, что я еврей.

Я помню, как мы с ним впервые поссорились, когда я шутил, играя в карты, назвал его Александром Соломоновичем, каков он и есть в паспорте, хотя всем устно представляется и в книжках пишет, что Александр Семенович. Я знал, сколько мук ему стоит при заполнении

разных денежных ведомостей предупреждать, что в бумагах он «Соломонович», а в жизни и в литературе «Семенович» – и что это ему дает, когда у него такая еврейская фамилия?

Когда я отпустил свои пышные усы, в которых хожу по сию пору, изредка подравнивая их под нажимом Лены Клепиковой, и все мои косные приятели усы мои дружно осудили, Вы один, Саша (я встретил Вас в редакции «Невы» и потом мы ехали куда-то в троллейбусе), поддержали их и одобрили. А на мой удивленный возглас, оглянувшись, обещали объяснить, когда выйдем и останемся tête-à-tête. И объяснили, уже на улице, но все равно шепотом: в усах я меньше похож на еврея, чем без оных.

Я хотел их немедленно сбрить, но, поразмыслив, оставил.

А как Вы меня уговаривали не переезжать в Москву, когда я безнадежно тосковал по столице, чтобы не узнали, что критик Владимир Соловьев еврей.

Ах, Саша, Саша – что за секрет Полишинеля...

Мы вели с Вами семинар поэтов Северо-Запада – нам попалась на редкость бездарная «армия поэтов». Единственное исключение – Ася Векслер, не ахти что, но хоть литературно грамотная. К тому же Ваша эпигонка – эпигонка эпигона. Как и Вы, небольшого роста, да и фамилии Кушнер и Векслер составляли какую-то странную пару. Мы имели право рекомендовать стихи участников для публикации в журналах и в «Дне поэзии». Естественно, я предложил Асю Векслер. Вы наотрез отказались меня поддержать. Я подумал было, что Вы стесняетесь пародии на себя. Известно ведь, что один литературный герой даже убил на дуэли человека, который компрометировал его пародийным сходством: Печорин – Грушницкого. Это было бы понятно, объяснимо. Но Вы снова перешли на шепот, когда мы поздно вечером вышли из Дома писателей:

– Ну как вы не понимаете, Володя! Мы же с вами евреи: два еврея рекомендуют еврейку – что о нас подумают?

А если бы у нас в семинаре был Мандельштам?

Я знаю про ваши ссоры с Таней – вы хотели, чтобы ваш сын носил ее русскую фамилию, а не вашу еврейскую, а Таня – из женского честолюбия, что ли? вы уже были тогда известным поэтом – сопротивлялась насильственной этой русификации. Вашему сыну уже четырнадцать лет, а он до сих пор не знает, что его отец еврей. Я помню, как вы на меня зашикали, когда я спяну обратился – при вашем сыне – к вашим гостям:

– Граждане евреи и неевреи...

Какое это стыдное слово – «еврей», как «сифилис». В трамвае оборачиваются, когда я его произношу. Мы понижаем голос до шепота, когда говорим «еврей». Мы стыдимся самих себя – на нас знак отверженности, и мы притворяемся русскими. Мы, евреи, боимся покровительствовать человеку, если он еврей. Мы стыдимся идти рядом с нашим провинциальным родственником – у него местечковые манеры, он картавит и растягивает слова и выдает нас с головой: пародия кивает на оригинал. Мы хотим умереть и родиться заново – не евреями, русскими. Мы хотим сбросить с себя свое происхождение как грязную рубаху, полную вшей.

Эта национальность как клеймо раба – мы прячем его, мы стыдимся его, но мы умрем с ним, и наши могильщики обнаружат его на нашем трупе и похоронят соответственно пятому пункту.

Мне стыдно моего стыда.

Слово «еврей» я произношу теперь громче, чем все остальные слова, – мне не соизмерить голос: с шепота я перехожу на крик, чтобы произнести это постыдное слово нормальным голосом. Я кричу о том, о чем боюсь прошептать.

В Союзе писателей мы обсуждали книгу Б. Я. Бухштаба об Афанасии Фете. Вышел Леша Леонов и долго говорил об Орловской губернии, откуда он, как и Фет, родом; о своем деревенском детстве; и странные, зыбкие какие-то мостики перекидывал от своей жизни к жизни Афанасия Фета. И в конце концов проговорился – даже не проговорился, а выгово-

рился, – выговорил то, к чему клонил блудное, косноязычное – либо лукавое? – свое выступление:

– Вот мы узнали из этой книжоночки, что наш русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет был не Фет вовсе, а Фёт, к тому же еврей, хотя и скрывал это и даже завещал шкатулку с соответствующими бумагами к себе в гроб положить и похоронить вместе с ним. Что и было сделано согласно воле покойника. И вот теперь могилу его разворотили, шкатулку вынули и жгучую эту его тайну на весь свет растрезвонили.

С трудом во все это верится, но что делать? Мы из-за этого отрицать Фета не станем, тем более он сам всю жизнь этого стыдился и, кто знает, может, на этой почве и умер. Пусть еврей – разве в этом дело? У нас в Орловской губернии такая земля, что даже если палку воткнешь – и та в рост пойдет, корни пустит, цвет даст. Хотя, конечно, жаль, что еврей. Такой поэт – и еврей: кто мог подумать?

Зал рассмеялся, потому что антисемитизм Леши Леонова был наивен, непосредствен, я бы даже сказал – чист, хотя слегка дебилен, если только не лукав. Это все равно как если бы нелюбовь к евреям обнаружилась вдруг у любимой кошки – что с нее возьмешь? А Лешу мы все любили – его крепкая проза была правдива, честна и трагична; далеко не все из нее и далеко не лучшее попадало в печать.

Но вот вышли на трибуну Вы, Саша, поэт, интеллигент, западник, и что стали вы говорить?

В зале воцарилась мертвая тишина, и только скрип стула под чьей-то задницей резанул общее ухо аудитории – так были все потрясены тем, что услышали. Вы тоже заговорили о происхождении Фета, хотя слово «еврей» не произнесли – не решились: это слово для вас немисливо произнести с трибуны. Вы сказали, что родители Фета жили в Германии, и зачат он был в Германии, но родился в России и стал русским поэтом.

Конечно, продолжали вы, родись он в Германии, Фет, может быть, и тогда бы стал поэтом, но таким великим, как здесь, не стал бы, потому что, во-первых, после Гейне ни один великий поэт не писал на немецком языке (а Рильке? и почему бы Фету не заполнить этот промежуток между Гейне и Рильке?), а во-вторых, именно Россия дала Фету ту меру и тот масштаб, которые сделали Фета великим поэтом.

Я нисколько, Саша, не упрощаю вашу мысль, скорее напротив – подбрасываю вам аргументы, и все равно получается та же самая палка, которая расцвела, оказавшись на нашей благодатной русской земле.

А сколько талантов, главным образом русских по происхождению, эта земля загубила? Что это за земля такая, которая к собственным сынам относится как к евреям?

Бродский и был таким евреем – не только по рождению, но по судьбе: жидом, отверженным, парией. В том смысле, о котором писала Цветаева:

Гетто избранничеств.
Вал и ров.
Пощады не жди.
В сем христианнейшем из миров
Поэты – жида.

Бродский был в Ленинграде двойным жидом – жидом и поэтом: не стеснялся этого, но даже настаивал на этом своем двойном изгойстве.

Трагизм был заложен в нем первоначально, тайная первооснова его жизни трагическая, он был зачат тоскливой осенней ночью – в непогоду, тайком, второпях, в трепете забот иудейских. Саша был зачат рационально, спокойно, предусмотрительно, по всем правилам зачатия.

Бродский – гениальная оговорка природы, случайное ее вдохновение, слепое бормотание, опрометчивость страсти, когда все исчезает окрест, и Бог стоит, усмехаясь над вакхическим трансом одеял, подушек и простыней, никем не замеченный. Зачатие Саши – это плановая и обдуманная работа по договоренности о самовоспроизводстве. Зачатие Бродского – трагическое зачатие древних иудеев, не уверенных в завтрашнем дне, но помышляющих о запредельных временах истории, о бездне вечности. Зачатие Саши – это оптимистическое зачатие советизированных евреев, уверенно глядящих в завтрашний день и не подозревающих о существовании послезавтрашнего.

ИБ – даже не еврей, а именно иудей, хотя и не в религиозном смысле, но в древнем, генетическом, метафизическом. В нем таинственная помесь жестоких и мстительных галилейских пастухов и пархатых местечковых мечтателей. Он не читает стихи – он их шепчет, бормочет, пробалтывает, слова исчезают: это лепет младенца или дадаиста, невнятица безумия, заговор против реальности. Трагизм, конечно, усилен советскими условиями, но основа его иная, первобытная – из-за несоответствия между словесным жестом и окрестной действительностью. Напротив, Сашины стихи – объективное и успокоительное свидетельство о мире, аккуратный и добросовестный фактограф, с пиететным и робким отношением к действительности. ИБ искажает мир до неузнаваемости, он находится с ним в конфликтных, враждебных, антагонистических отношениях. Или – или; или ИБ – или мир. Он больше своих стихов, торчит из них отовсюду, высовывается, чтобы взглянуть на них со стороны и удивиться их несовершенству, неадекватности, импульсу и вдохновению: «Жизнь отступает от самой себя и смотрит с изумлением на формы, шумящие вокруг», потому он и проглатывает слова, строки, строфы, что не верит, не доверяет ни слову, ни стиху, ни слушателю, ни автору, то есть самому себе не доверяет.

Он не удовлетворен своим стихом – не вполне удовлетворен, а то и вовсе неудовлетворен; знает, что поэзия ему сопротивляется, мучается из-за этого и теперь – в отместку! – уже он сам сопротивляется собственному стиху, словно вгоняя его туда, откуда он вышел, прерывая его существование. Бродскому стих жмет, как ботинок, а Саше – велик. Это как в старом анекдоте про свадьбу великанши и гнома. Наутро великанша рассказывает товаркам: «Всю ночь возились – какой там сон! Все ползал по мне и шептал: „Мое! И это мое! И это! Все мое!“»

Сашины стихи больше, чем он сам, он до них не дотягивается. А пишет, стоя на цыпочках, подпрыгивает, чтобы написать стихотворение. Читает он стыдливо, с опаской, с оглядкой, краснея, запинаясь, словно бы не свои стихи – ему стыдно рядом со своими стихами: он относится к ним уважительно, с пиететом, как к чужим. Уточню: я вовсе не о шутках и слухах, что Саша – подставное лицо, псевдоним Лидии Яковлевны Гинзбург, пассивный участник еще одной литературной мистификации – была же Черубина де Габриак, почему не быть Александру Кушнеру?

Если бы писал свободный, а не документальный роман, то, возможно, и положил бы в его сюжетную основу столь пикантную историю: старая литературная дама выдает себя за молодого стихотворца, который завоевывает сердца читателей. Увы, нельзя: покорно следуя за прошлым, никакой выдумки – только проверенное...

Так вот, творчество ИБ – это писание стихов на головокружительной высоте, где каждый стих и каждый шаг смертельно опасны, но каждая остановка – тоже. Стих стремится продлить жизнь непродлеваемому мгновению, ибо оно самоустраняется, исчезает навсегда в прошлом, и наша попытка преодолеть смерть искусством – безуспешная и безутешная, но единственно возможная и позарез необходимая.

К своим стихам у ИБ отношение скептическое, недоверчивое, завистливое и слегка даже брезгливое. Они проще горьких дум их автора, что, кстати, и придает им мощи, и за

это их будут, считает ИБ, любить более, чем ноне их творца. Я пересказываю его «Послание к стихам», горестное, хотя и кокетливое, игровое, театральное:

...Разно
С вами мы пойдем: вы – к людям,
Я – туда, где все будем.

Его поэзия порождена особыми условиями отечественного нашего существования, усиленной и неустанной слежкой за ним и неизбежной при этом манией преследования, когда не веришь никому: ни любовнице, ни другу, ни стихам, и, как знать, может быть, они и не заслуживают доверия. Это поэзия крутого одиночества, тюремной камеры, палаты № 6, тупика и конца, в котором, однако, и есть ее начало – трагический исход в небытие, в небыль, в ничто, в ничтожество.

Но, как всегда, не зная для кого,
твори себя и жизнь свою твори
всей силою несчастья своего... —

что ИБ и делал.

Эсхатологические его предчувствия имеют, увы, скорее реалистическую, чем мистическую первооснову.

Сейчас я вспоминаю патологическую Осину трусливость. Для него было неразрешимой проблемой сходить к зубному врачу, он всерьез прощался с друзьями, узнав, что у него геморрой, и уполз с операционного стола, хотя уже находился под наркозом: сознание его было отключено, а страх – нет. И дело не только в трагическом его сознании – все это были локальные проявления его универсального двойного страха: генетического страха и страха, привитого ему государством. Он был в ссылке, сидел в тюрьме и психушке, его не печатали, за ним следили – он не стал от этого мужественнее, закаленнее, отважнее, но еще трусливее, чувствительность у него была повышенной сверх меры. Все, что он делал, было преодолением этого двойного страха. Все было смертельно опасно: идти к зубному врачу, писать стихи, говорить с приятелями.

Лидии Яковлевне и Саше он казался романтиком, а был – смертником и выжил чудом. У Лидии Яковлевны была теория анестезии, стоицизма – человек не должен опускаться до страдания, не должен доходить до истерики, должен стыдиться своего и чужого несчастья, а если кто кончает самоубийством, то делает это к вящему безобразию.

Это хорошая теория для людей, которым удалось избежать страдания.

Это инстинкт самосохранения – чужую боль счесть за невоспитанность. Уход от милосердия, от сочувствия – можно ли сочувствовать горю, в реальность которого не веришь? Когда Саша написал, что «трагическое мирозерцанье тем плохо, что оно высокомерно», он имел в виду Бродского – будто мы вольны в выборе, будто трагическое мирозерцанье возникает по прихоти, как забава.

За что они не любили ИБ? Он был лишним в их литературном коллективе со стойкими цеховыми принципами, которые, им казалось, могли заменить индивидуальные качества. Это была ставка на антигениальность, отрицание гениальности как патологии. Он был моложе и Саши, и Яши, и Игоря, а меня старше всего на два года. И он силой вломился в литературный мир, который сложился и окостенел еще до того, как он начал писать стихи. Кто знает, если бы не покровительство Анны Андреевны и не дружба с Женей Рейном, его штурм, возможно, и не увенчался бы успехом. Его приняли условно, на птичьих правах, без права голоса, и до самого конца он оставался парией в литературном Ленинграде. Когда он

появился в городе после полуторалетней вынужденной отлучки, журналам и издательствам было дано указание печатать его стихи, и две публикации – в альманахе «Молодой Ленинград» и в «Дне поэзии» – успели-таки проскочить. Этим, однако, все и ограничилось. Почему застопорилась его советская судьба? Говорят о его несговорчивости, неуступчивости, бескомпромиссности – строчку, мол, не давал изменить, тоже мне барин. Ссылались при этом на подготовленную Натаном Злотниковым подборку его стихов в «Юности», которую ИБ сам и снял, возмущившись редактурой. Еще я помню, как мы шли вдвоем по Марсову полю и Яша Гордин выговаривал Осе за то, что тот сам забрал из «Советского писателя» сборник своих стихов – те тянули с решением, не отказывали, но и не заключали договор.

Вот один наш странный с Осей разговор.

Лена Клепикова, которая работала тогда редактором отдела прозы в «Авроре», дала ему на внутреннюю рецензию чью-то рукопись – заработок чистый и хороший. Рукопись принадлежала летчику-графоману, какой-то другой его роман я рецензировал для «Невы» и забраковал, хотя и отметил знание автором летного дела и старательность. Я не читал романа, который достался Осе, – может быть, он был лучше того, который читал я, а скорее Ося оказался добрее меня. Какую-то роль сыграло то, что в детстве Ося мечтал стать летчиком. К тому же я уже написал добрую сотню таких вот внутренних рецензий, а для него это было внове. Короче, он отнесся к этой работе очень добросовестно, даже связался зачем-то с автором, что делать не полагалось, и из рецензента готов был вот-вот превратиться в редактора – во всяком случае, он полагал, что если над этой рукописью как следует поработать, то ее можно печатать. Мне жаль, что у нас не сохранилась копия его блестящей рецензии, хотя такой блеск от него вовсе не требовался – просто он не умел ничего делать средне, кое-как.

Я зашел к нему домой, а от него мы отправились в «Аврору» – это совсем рядом. На полпути Ося остановился и, помявшись, предложил вдруг пойти порознь, потому что не хочет меня компрометировать.

Я возмутился. По дороге зашла речь о заработках, я сказал, что Лена могла бы дать ему еще рукописи на внутренние рецензии. Тут возмутился он. Не мог я тогда понять его чистоплюйства. И сейчас не понимаю. А тогда я напомнил ему о Саше – у того своя кормушка: он на кинохронике зарабатывает до 100 рублей в месяц, а то и больше безымянным текстом к официальным репортажам: «Сегодня в наш город прибыла партийно-правительственная делегация Германской Демократической Республики...» И тогда ИБ сказал, что не хочет подачек, а хочет, чтобы ему платили за его работу – за стихи и переводы.

Он был горд и высокомерен, как отвергнутый и как еврей. А сила евреев именно в отщепенстве, в остракизме, в гетто: теория тупика.

Одиночество растравляет честолубие, непризнание делает несговорчивым и заносчивым, а тупик заставляет искать выход – свой собственный, единоличный. Ему нечего было терять, кроме своих вериг.

Внутренние рецензии – паллиатив, а он инстинктивно избегал того, что могло бы, насытив его побочно, уничтожить его главный голод. Он не хотел быть городским сумасшедшим, а хотел издаваться в СССР и иметь читателей. Он хотел свободной конкуренции, чтобы в открытом турнире сразиться и с Вознесенским, и с Евтушенко, и с Кушнером.

Я не сомневаюсь в высоких достоинствах его стиха, но мало того – у него были все данные, чтобы стать первым поэтом России. Читателя – точнее, слушателя – он брал за горло, сопротивляться ему было бесполезно. Стиховая его речь, ни сколько не пресмыкаясь, была по сути и по стилю народной, соединяя то, что он вычитал из книг, с тем, что он подслушал в пивных, в троллейбусах, в архангельском своем Михайловском – в деревне Норенская. Он не чуждался мата и в жизни, и в поэзии. Его стихи писаны городским жаргоном, на отечественной фене, где уголовщина, будучи постоянной перспективой поступка, является в то же время неизменной словесной реальностью. К тому же были в нем независимость, высокоме-

рие и ораторский гипноз, необходимые, чтобы увлечь слушателя. Что-то от тех евреев, которые сводили с ума толпы солдат, матросов, крестьян, рабочих на революционных митингах, заражая слушателей прожектерским своим пафосом и утопическими проектами – и таки перекачали в народ переизбыточную свою энергию, русофилы правы: соблазнили, только вряд ли – с пути истинного. Слава Богу, ИБ родился спустя четверть века после революции, и потому стал поэтом, а не вождем, но Лужники пришлось бы ему в самую пору.

Я не думаю, что он был непримирим и бескомпромиссен, когда речь шла о печатании его стихов – слишком дорожил он недоступной ему связью с вождленным читателем, слишком много ждал от встречи с ним. Он не хотел писать внутренние рецензии, и были у него на это веские, хотя мне тогда и невнятные, причины. А вот чтобы увидеть свои стихи напечатанными, он бы стал и уступчивее, и сговорчивее – не сомневаюсь в этом. Что же тогда прервало советскую его карьеру после возвращения из ссылки и ввиду относительной и вынужденной лояльности к нему ленинградских властей?

К сожалению, в моем распоряжении слишком отрывочные сведения, чтобы делать из них далеко идущие выводы, да и не биограф я Бродскому.

Но факт остается фактом: главный редактор только что организованного журнала «Аврора» Нина Сергеевна Косарева – партийная дама, но из либеральных, – получив, по-видимому, распоряжение свыше, затребовала от ИБ стихи, чтобы их напечатать, и напечатала бы, не натолкнувшись на решительную оппозицию нескольких влиятельных ленинградских поэтов. Участвовал ли в этой акции Саша прямо либо косвенно, я не знаю. Но для моего сюжета это и не важно.

Они были соперниками, ни для кого это не было секретом. Один ревновал другого к прижизненной советской славе, другой – к зарубежной и посмертной. Ося был неоконченное существо, Саша – окончательно завершленное, застывшее, косное: Саша не понимал, что нельзя такую длинную жизнь, как человеческая, прожить одним и тем же человеком, неизменным, неизменяющимся, одинаковым. Саша пил бессмертие из десертной ложки, ИБ – торопясь, захлебываясь и задыхаясь – «из горла». ИБ писал, как жил – не словами и не строчками, но целой строфой, всем стихотворением: у него хватало духа и дыхания на большие вещи, он жил впроголодь и набрасывался на стихи, как на женщину, интегрировал пространство и время в поэзию; а Саша дробил, дифференцировал, расчленял – согласно педантическому своему дарованию, умеренному темпераменту и размеренному *modus vivendi*. Он принципиальный миниатюрист – не только в форме, но и в чувствах.

Их конфликт – это конфликт Молчалина и Чацкого. То есть конфликта как такового нет, потому что нет точек соприкосновения.

Дважды я приходил к Осе в больницу – один раз на Охте, а другой в Сестрорецке, – и он сказал мне, что я появляюсь, только когда ему плохо. Это было не так. Я помню, как я появился в его комнате на Пестеля, когда плохо было мне – буквально, физически: в сильнейшем подпитии, плохо что соображая, я тем не менее потребовал от Саши и Лены вести меня к Осе, благо мы были от него всего в одной трамвайной остановке. Вцепившись в полуценный от предусмотрительного ИБ тапик, я тут же заснул, а когда спустя несколько часов, среди ночи, проснулся, застал двух поэтов и мою жену мирно беседующими о стихах, и было мне горько, будто я пропустил нечто очень важное.

Недавно мне снился Ося и, с острой жадностью вглядываясь в его черты, я почувствовал вдруг, что этот мой роман – ностальгия по дружбе с ним. . . Я проснулся, видение исчезло, но я все продолжал думать о нем. Такое у меня чувство, что этим романом я словно бы пересказываю его стихи, хотя это не совсем так: его стихи – это скорее гигантский эпиграф к моему роману, который ими вдохновлен, а посвящен Лене Клепиковой.

В расцвете нашей дружбы Саша подарил нам с Леной свою книгу с такой надписью: «Дорогим Володе и Лене, без которых не представляю себе своей жизни, с любовью». Это

и в самом деле было так – не представлял, и думаю, нашу теперешнюю идейную размолвку переживает остро и безнадежно. Впрочем, и я тоже – стал бы я иначе писать этот роман!

Хотя – стал бы: не в одном Саше дело.

Я опускаю целую главу «Саша – мой лучший друг»: я ее написал, но что-то мешает мне ее опубликовать, что – не знаю. Идиллии, кстати, не получилось, и наши с Сашей прогулки по Петербургу, наши с ним разговоры и наша переписка – все это оказалось с какой-то червоточинкой, с изнанкой, с подводными рифами. Либо я пролез в прошлое, как говорит Набоков, с контрабандой настоящего? А можно ли иначе?

Косвенный мой взгляд выхватил из прошлого совсем не то, чем прошлое было для меня, когда было настоящим. Или оно было таким, как я его сейчас описал, но тогда я этого не подозревал и только теперь понял? Или и тогда подозревал? Чтобы не вводить читателя в соблазн бесплодной, а потому мучительной софистики, я уничтожаю эту двусмысленную главу – как будто ее и не было. Пусть даже потом я буду об этом жалеть.

Что-то все-таки было в тогдашних наших с Сашей отношениях, чего касаться сейчас я вроде бы не вправе: слишком умышленно, тенденциозно и предвзято гляжу я в прошлое.

Прошлое отделилось от материка нашей жизни и превратилось в недоступный остров.

У меня нет возможности сверить мои сегодняшние показания с тем, что было с нами на самом деле.

Да и был ли мальчик?..

Саша безошибочно – хоть скорее инстинктивно, чем меркантильно – угадал меня в качестве друга, и я всесоюзной его славе немало способствовал, о чем сейчас не жалею. Его либо не замечали вовсе, либо вяло поругивали. Я был молод, энергичен и безогляден – опубликовал о нем в разных изданиях, от «Юности» и «Комсомольской правды» до «Литературной газеты», с дюжину статей. В эпоху барабанного боя и медных литавр тихий голос Саши показался мне настоящим, а его поэзия перспективной. И сейчас, когда Сашу дружно хвалят за эпическую мощь, за странолюбие, за анти гениальность, за апологию оптимизма и проповедь счастья, несмотря ни на что, я действую согласно прежнему принципу: ругаю его. За странолюбие, за проповедь счастья и безудержный оптимизм, за гармонию на молекулярном уровне, за поэзию без вдохновения, за катарсис без трагедии: «Когда я мрачен или весел, я ничего не напишу. Своим душевным равновесьем, признаться стыдно, дорожу». Единственное – я до сих пор не понимаю, экономит ли он на душевных расходах либо ему нечего тратить?

Если бы не я, Саша бы, по всей вероятности, на всесоюзную арену так быстро не вышел, прозябая в провинциальной все-таки ленинградской школе, которую возглавил, когда ИБ с ней порвал, покинув сначала город – метафизически, а потом и страну – реально, перемещением тела в пространстве. Короче, я ощущаю некоторую ответственность за содеянное, и этот мой роман – исправление моих ошибок, в том числе литературных, хотя не их одних. Если бы не теперешние Сашины спекуляции дружбой с ИБ, которой не было, я бы, вполне возможно, обошелся бы в этом романе вовсе без Саши, а лучше бы рассказал о своих любовных похождениях либо о наших с Леной контроверзах.

Я пристал к их компании последним – ИБ среди них уже не было.

Он ходил городским сумасшедшим по ленинградским улицам, а за ним привычно плелись его оруженосцы из Комитета госбезопасности. Его судьба в России – увы! – была исчерпана, а то, что продолжалось, была уже не судьба, а дубль, повтор, инерция, и неизвестно, кому это все прежде наскучит и приестся, кто первым оборвет эту игру в «кошкимышки» и чем ее заменит.

А пока что продолжалось безжалостное вытеснение Бродского из отечественной литературы его собратьями по перу.

Дело в том, что в начале 60-х годов, в сравнительно для литературы сносное время, ряд молодых поэтов и прозаиков, кто с некоторыми потерями, а кто и без них, как, скажем, Саша, дебютировали первыми книжками, вступили в Союз писателей, и их творческая судьба обернулась компромиссной и паллиативной литературной карьерой. Возникла тогда же теория, и была в ней небольшая доля правды – что преуспели наиболее талантливые, а за бортом остались – наименее. С десятков литераторов-неудачников бродили по Ленинграду, безуспешно пытаясь штурмовать все более и более неприступные фортификационные сооружения нашей писательской крепости и ее передовые форпосты – редакции, киностудии, театры, творческие союзы. Среди них были такие одаренные, как Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Сергей Довлатов, Владимир Уфлянд, в том числе ИБ. И я не сразу понял, что журнально-издательский заслон 60-х годов не пропускал и менее талантливых, и более талантливых, удовлетворяясь пропуском усредненных дарований вроде Сашиного. Такова, к сожалению, пропускная способность нашей отечественной литературы. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом!» – воскликнул однажды в сердцах Пушкин, а мой друг Саша словно бы в унисон ему написал:

Снег подлетает к ночному окну, вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну, где нам родиться!

Саша и в самом деле угадал, где родиться. Другое дело, что в связи с участвовавшими отъездами писателей, художников, музыкантов он понял относительность отечественного своего успеха и засуетился, но об этом страницей-другой ниже.

А сейчас о Бродском.

Его поэтическая связь с «отечеством белых головок» не была такой уж однообразной. Завьюженный и леденящий образ России, заимствованный у него Сашей, одомашненный и превращенный из трагического в патриотический – «несмотря ни на что», был для ИБ гамлетовым символом: даже если предположить, что весь мир тюрьма и таковым делает его наше воспаленное сознание, все равно Дания – одна из худших тюрем. Саша извлекал и отсюда несомненные выгоды, полагая тюремное свое сознание прерогативой, а не аномалией. ИБ воспринимал отечественную декорацию не как зритель, а как участник действия, то есть интересно, душевно и физически, как собственную искалеченность:

...Отчизне мы не судьи.
Меч суда погрязнет в нашем собственном позоре...

Образом мест, где он пресмыкался от боли, – раскавычиваю цитату?

Я – один из глухих, облысевших, угрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой...

От Диксона до Кушки и от Таллина до Уэлена: пугающее пространство, отпугивающее – не страна, а часть света!

Даже две.

Так какая держава второсортная, а какая – первосортная?

А связь – связался?

Как будто в нашей воле отвязаться...

Одновременное чувство – изгнанника и заключенного.

Тот груз, которым нынче обладаем,

в другую жизнь нельзя перенести.

В другую, может быть, и нельзя, если под другой подразумевать «загробную», а ежели в набоковском смысле – «другие берега», ибо Атлантический океан все-таки не Стикс, а нечто вроде замены смерти, ее избегание – «Во избежание роковой черты, я пересек другую – горизонта, чье лезвие, Мари, острой ножа» – короче, в эту жизнь ту жизнь перенести можно и неизбежно. Не вытравить, боюсь, отечественной закваски ни благополучием, ни экзотикой:

Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди,
и голубки – в ковчег.

Ностальгию я считаю русской литературной выдумкой, поанглийски это греческое слово имеет иное значение – не тоску по родине, а тоску по прошлому. Этимологически русское значение ближе к оригиналу, зато английское – ближе к истине. А главное, что патриотизм – когда возможен, а когда и нет, увы.

Здесь другое: тюрьма отучает от воли, от света, от свободы. Об этом написан Байроном «Шильонский узник». Вздохи русской послереволюционной эмиграции – это вздохи по тюрьме, а не по родине. Не по воле...

Бродский, находясь еще здесь, сохранил во всяком случае редкостную трезвость по отношению к своему отечеству, где по железному закону тотальной психологии был не допущен в русскую литературу ни своими врагами, ни своими друзьями, что и предопределило во многом полную его творческую независимость от тех и от других.

Если бы он не был выслан 4 июня 1972 года, то человеческая его судьба сложилась бы здесь скорее всего трагически.

Я с ним познакомился поздно и сразу же полюбил – и его самого, и его стихи. Неофициальное и, с моей тогдашней точки зрения, низкосортное его окружение – его кордебалет, улица, литературное дно – меня поначалу удивляло и даже коробило, пока я не догадался, что наш державный литературный салон всячески избегает быть его аудиторией – Саша и Лидия Яковлевна прежде всего.

С наивной убежденностью в необходимости для литературы справедливости я попытался пробить брешь в этом заговоре молчания против ИБ. Когда я стал в очередной раз хвалить его стихи, Лидия Яковлевна искренне возмутилась: «Любить надо кого-нибудь одного – либо Бродского, либо Сашу!» Я опешил и даже вспомнил по аналогии, что Лаура говорит ревнивому Дону Карлосу:

Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя.
Теперь люблю тебя.

Однако Лидия Яковлевна оказалась права, отстаивая принцип однолюбия. ИБ отменял Сашин путь – паллиативы, наущничества, литературной стратегии, интриг, коллективистскую спайку литературной мафии, а настаивал на своем жидовстве – политическом изгойстве и литературной обособленности.

ИБ был городским сумасшедшим, а Саша – домашним котенком: сначала в салоне Лидии Яковлевны, потом в ленинградской поэзии и, наконец, в официальной литературе. ИБ предвидел этот путь писательского сервилизма – он раздражался на Сашу, как голодный на сытого.

Судьба к Саше благоволила – вряд ли можно его упрекать в этом, он был честен и ничего дурного вроде бы не сделал, чтобы ее задобрить, а выигрыш в лотерее – не преступление, а всего лишь случайность. Однако счастливый лотерейный билет Саша счел заслу-

женной себе наградой и стал впрок отрабатывать полученную привилегию, приспособляясь к отечественным обстоятельствам и яростно их адвокатируя от учащающихся нападений своих знакомых. Разномыслие он считал высшей для себя угрозой, а Бродского – персоной нон грата в современной поэзии: тот оказался изгнанником еще до того, как покинул пределы любезного отечества. Точнее – он был изгнан из страны сначала своими «друзьями», а только потом врагами. «Друзьями» – за нарушение цеховых правил, за поэтический гений, за психологическую несовместимость, за литературное жидовство. Врагами – с подсказки и по наущению «друзей». Это был заговор коллектива против индивидуума, который отказался коллективу подчиниться. Я это не сразу понял, а только когда сам столкнулся с организованной мафией ленинградской интеллигенции. Это случилось спустя несколько лет после отъезда ИБ, и я вылетел из Ленинграда, как пробка из бутылки шампанского, еле ноги унес. Москва виделась из Ленинграда как единственное спасение.

Я вспоминаю бытовой и незначительный повод моей с Сашей размолвки – увы, в наше время даже идеи становятся бытом.

Человеческий инстинкт самосохранения вступил у Саши в резкое противоречие с литературным инстинктом самосохранения. В ленинградском масштабе Саша сделался государственным поэтом, патриотические стихи за еврейской подписью были все-таки редкостью и ценились больше, из него делали – с его согласия – анти-Бродского.

Саша захотел немыслимого – славы ИБ без его судьбы.

Еще точнее – его трагической судьбы в поэзии при безоблачном благополучии в жизни.

Трагедия, но при полной анестезии.

Саше казалось, что все возможно – его механический, сальериевский ум допускал любую возможность в своей судьбе – в том числе превращения себя в Бродского, так как тот уже по другую сторону океана, а с глаз долой – из сердца вон!

Поэзия представлялась Саше фокусником с мелькающими руками, многоруким Шивой, а поэзия на самом деле статуя с отбитыми руками, безрукая, беспомощная и все-таки сильная Афродита, рожденная из спермы и крови оскотенного серпом Урана. Какая там анестезия! Крон отсек фаллос у милого родителя в момент последних содроганий – либо вызвав их, и когда Уран корчился от боли, выброшенный в море детородный его орган находился в состоянии оргазма.

Впрочем, греческая мифология здесь явно ни при чем, а при чем – еврейская.

Саше было обеспечено благополучное место в литературе, но он принял его слишком суеливо, слишком цепко за него ухватился, а здесь тот же закон, что и в любви – чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Он возжелал боли как выгоды, но боли не было, а был выработанный иммунитет на боль. Его поэзия – это профилактические указания о том, как избежать страдания, как обмануть судьбу, как остаться счастливым, притворившись несчастным.

А мой роман – попытка восстановить поправленную справедливость: право на первородство принадлежит косматому Исаву, а не гладкому Иакову.

Глава 12. ДЕКОРАЦИИ К «ТРЕМ ЕВРЕЯМ» (отрывки)

В Петербурге террор, самый опасный и бессмысленный...

Герцен

В Петербурге жить, что лежать в гробу.

Мандельштам

Антракт!

Займемся, наконец, декорациями.

Давно, кстати, пора...

Мы не в «Глобусе», где достаточно было надписью обозначить место действия, а воображение уже дорисует остальное: «Думайте, когда мы говорим о лошадях, что вы их видите».

Sapienti sat...

Умному – да: мы не из их числа, да и латынь из моды вышла ныне.

Займемся декорациями, дабы уточнить место действия, ибо сказать, что оно происходит в СССР – недостаточно.

Комарово как-то почти исчезло из поля зрения автора – думаю, еще появится, хотя подчеркиваю всю условность привязки сюжета романа к школьным каникулам. Мне нужна печка, чтобы от нее танцевать – вот я и танцую, прихрамывая на левую ногу, ерничая и измышляя на своих приятелей столько напраслины, что вряд ли они даже узнают себя.

Хотя – узнают: не сомневаюсь. Потому что по жанру это «роман без вранья» – превратим чужое название в определение собственного жанра.

Когда я этот роман только еще замыслил, то ввиду лохматого сюжета думал его поместить в единую на весь роман декорацию. Три недели в Комарово, объединившие там нас насильно и размежевавшие вконец, показались мне искомой декоративной координатой.

Сейчас я думаю, а не построить ли мне на сцене «любимый город на Неве», тем более, есть возвращенная мне издательством вполне сносная о его архитектурных достопримечательностях рукопись, и потом многое – не только топографически – связано в сюжете и героях этого романа именно с нашим прославленным городом. Этот роман невозможно представить московским – о Москве я еще напишу другой, если буду жив. Москва – это сама Россия, хотя и не вся, она просится на роман эпический, ядреный и бесконечный. Не зря же я, черт возьми, преодолев «миллон терзаний» на своем пути – вот уж, настоящая скачка с бюрократическими препятствиями, – переехал в «буддийскую» эту столицу, ибо Москва – закрытый от посторонних, включая собственных жителей, совершенно секретный и вполне таинственный город.

Тише, мыши, кот на крыше!

Какое счастье все-таки жить в городе, к которому не испытываешь ровным счетом никаких чувств, с которым не связан ни воспоминаниями, ни надеждой, ни мукой, с которым так легко будет расстаться – если придется...

Как я мечтал уехать из Ленинграда, уехать навсегда, чтобы полюбить его в прощальном, несбыточном значении. Только уехав из него, казалось мне, можно почувствовать его изолированно, архитектурно, т. е. эстетически, забыв о выхолощенных или измененных функциях всех этих прекрасных строений. Как город, где надо жить и предстоит умереть, Ленинград фантастичен и невозможен. Какие раритеты он возвращает, какие уродливые типы его населяют и бродят среди классических зданий! А какие комплексы бушуют здесь в душах – от комплекса графа Монте-Кристо, когда человеку жизни не хватает, чтобы отомстить, так глубоко, вечно и безысходно переживает он нанесенные ему раны, до геростратизма – одни здесь строят, другие разрушают.

Но и те, кто строит, знают, что построенное ими будет разрушено – потому только и строят. И в самом деле, Карфаген должен быть разрушен – невыносимо жить среди архитектурных сувениров!

Мой дом – «Красная стрела», я ношусь в ней из Ленинграда в Москву, из Москвы в Ленинград, и поезд между двумя столицами проносится сквозь мое сердце. Я быстро лишаюсь иллюзий относительно Москвы, но жить в Ленинграде я все равно не могу – пятачок, где все друг друга знают, спаянные взаимной ненавистью и круговой порукой.

Спрессованная русская история выглядит из-за архитектурных ширм, ибо не только Ленина здесь знает каждый камень, но и... – лень перечислять, дуй, читатель, самосто-

ятельно! Несостоявшаяся история, замысленная и неосуществленная: не толь ко окно – щелку! – прорубить в Европу и в мир немыслимо.

Стараясь что есть сил.

Что Петр Великий? А Новгород Великий? Торговал не хуже теперешней Москвы – с Ганзейским союзом, а на левом берегу Волхова стояли церкви торговых партнеров. И что? Раздавлен и смят тогдашней Москвой. Да и в торговле ли дело?

Москва – теперешняя – кажется мне недостроенной Вавилонской башней, Ленинград – гробницей Тутанхамона. Не знаю, что лучше, но бродить среди великих мертвецов и раскланиваться с живыми классиками и стигийскими тенями – увольте...

«Это был родной город Мандельштама – любимый, насквозь знакомый, но из которого нельзя не бежать», – вспоминаю слова Надежды Мандельштам.

А сам Мандельштам?

Городолюбие – городострастие – городоненавистничество:

«В Петербурге жить, что лежать в гробу».

Это к тому, что я не очень оригинален: прецеденты были.

Ни вздохнуть, ни чихнуть – каждое здание требует вокруг себя архитектурной тишины. Сергей Маковский стыдился, что живет в доме, построенном в начале этого века и заслоняющем Адмиралтейству выход к Неве. Поносят того архитектора, который невдалеке от томоновской Биржи выстроил гинекологическую больницу, того скульптора, который перед Александринкой поставил памятник Екатерине, того незадачливого садовода, который по другую сторону Адмиралтейства разбил прелестный сквер – прежде Александровский, теперь Сад трудящихся – он, оказывается, закрывает вид на шедевр Захарова. Раздаются голоса, чтобы, уничтожив наслоения, заново открыть и навсегда уже законсервировать прежний Петербург. Весь вопрос – какой? Николаевский? Александров ский? Екатерининский? Петровский? Так злополучный Шлиман уничтожил прекрасные греческие вазы, раскапывая в Гиссарлыке гомеровскую Трою.

Городские власти поначалу сопротивляются этому архитектурному пассаизму, но вдруг неожиданно сами становятся заядлыми некрофилами. Ретроспективные, мирискуснические настроения приобретают обязательный, директивный характер.

Я все пытаюсь понять самих мирискусстников, с которых все пошло – слабых, средних художников, западников, европейцев, искусных компиляторов и высокомерных эрудитов: Александра Бенуа, Мстислава Добужинского, Константина Сомова. И понимаю, наконец, что не они были стилизаторами старого Петербурга, а сам Петербург – тончайшая стилизация, подделка, миф. Просто мир искусники это первыми почувствовали и передали свое ощущение самого фантастического русского города.

Городским властям выгодно сейчас поддерживать двойную эту фикцию – важно законсервировать настоящее, пусть оно отодвинется в сторону или на задний план, пропустив вперед прошлое. И пусть никогда не забывает настоящее о великом соседстве ушедших столетий и о собственном по сравнению с ними ничтожестве.

Предано забвению даже то, что вся русская литература – начиная с Пушкина, с Гоголя, вплоть до Достоевского, Иннокентия Анненского и Андрея Белого – чуть ли не целое столетие подряд посылала дружные проклятия этому умышленному городу. Боль, и та превращена в музейный экспонат: уже водят туристов по гнусным этим дворам, где будто бы бродил Раскольников. Антисанитарные дома с кишачными коммуналками, где грязь, ссоры, поножовщина, не идут на слом или на возделенный для каждого жильца ремонт только потому, что защитники старины с пеной у рта отстаивают их мемориальную ценность. Живые жмутся к стенам, давая дорогу торжественному и нескончаемому шествию теней, где историческая шваль в таком же почете у потомков, что и гений.

Город-фикция, город-мираж, город-тень, но тень, бежавшая от своего хозяина, возмнившая о своем значении, присвоившая себе диктаторские и менторские права:

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни и страшные были.
А нас кто сочинил?

Я знаю – кто, да только рано говорить, по сюжету рано. Еще ска жу, не сейчас, позже, когда придет пора, здесь же, в этом романе...

А пока – несколько фактов, чтобы из них составилась фундамент для изложенных и последующих размышлений. Как говорится, бывшее и думы – мое бывшее и мои о нем думы.

4 июня 1972 года уехал Бродский, послав на прощание трогательное, хотя и выпретенное, театральное, письмо Л. И. Брежневу.

В 1974 году прокатилась по Ленинграду волна обысков – Е. Г. Эткинда выгнали с работы и из Союза писателей, и он вынужден был уехать из страны, а Мишу Хейфеца посадили и судили – четыре года строгого режима.

Вот тогда-то, после обыска у него и нескольких допросов, и заметался по России Володя Марамзин. Все было как на охоте – травили зверя, круг сужался. Володя прятался у знакомых и у женщин.

Не знаю, насколько оттянул он свой арест – на месяц-другой, не больше.

Я пишу и думаю, каким фантастическим должен казаться мой сюжет американцу либо французу. Даже москвичу, для которого самиздат – явление обычного и привычного ряда: в Москве немыслимо арестовать человека только за то, что он собирает стихи Бродского.

Все упирается в особенности ленинградского политического климата.

Испокон веку он был иным, чем московский: лютым и студеным – северный полюс и полярная ночь круглый год, даже положенного северного сияния нет.

Ведь и волна хрущевского либерализма, докатившись до Ленинграда, разбилась о неприступный его гранит – мы слышали скорее далекий его отголосок, глухое эхо, чем почувствовали его реально: грома грохотанье, а не электрический зигзаг молнии.

Ленинград стоял в оппозиции к Хрущеву – сначала Фрол Козлов, вслед за ним Василий Толстиков, сосланный впоследствии послом в Пекин за то, что хотел быть правее Папы Римского: «У, жида – прищурились», – сказал он будто бы, сходя с трапа в пекинском аэропорту. Снятие Хрущева в ленинградских партийных кругах воспринималось как праздник, который настал, наконец, и на их улице – все с надеждой глядели в сторону Китая, противопоставляя алеющий Восток гниющему Западу.

Собственно, опала Бродского – тюрьма, психушка, суд, ссылка, а потом высылка – объясняется именно спецификой ленинградского политического климата.

Как и арест Миши Хейфеца и Володи Марамзина.

Как и этот роман – живи я в Москве, я бы его никогда не написал.

Потому что этот роман – преодоление ленинградского страха.

А не только советского: Ленинград – это СССР, возведенный в некую степень, советская современность, помноженная на русскую историю петербургского периода. Недаром

этот город – колыбель революции: петербургские революции – это преодоление петербургского страха.

Я сошлюсь снова на Надежду Мандельштам – с описанных ею времен Ленинград пережил еще несколько погромных набегов КГБ, так что означенные вдовой поэта признаки не уменьшились, но усилились, хотя масштаб их стал более, что ли, умопостигаемым – вышкой не пахнет, но это ничего не значит, можно умереть и от разрывной пули, и от булавочного укола: по теперешним временам семь лет – это вышка, и не дай Бог кому из нас ее заработать. Как раз здесь с Н. Я. Мандельштам согласиться трудно: она считает, что Бродский даже не представляет, как ему повезло, он баловень судьбы, но не понимает этого и иногда тоскует – это писалось, когда Ося был еще здесь. Конечно – если судьбу Бродского сравнивать с судьбой Мандельштама, но справедливо ли это сравнение? По сравнению с тогдашним ужасом и семь лет – да хоть двадцать пять! – покажутся подарком судьбы.

После этой оговорки обещанная цитата:

«В „буддийской Москве“, в „непотребной столице“ Мандельштам жил охотно и даже научился находить в ней прелесть – в ее раскинутости, разбросанности, буддийской остановленности, тысячелетней внеисторичности и даже в том, что она не переставала грозить ему из-за угла. Жить под наведенным дулом гораздо легче, чем в некрополе с его прошлым, много раз сменявшимся населением, всегда мертвым, но равномернодвигающимся по улицам и, наконец, самым страшным в стране террором, остекленившим и так мертвые глаза горожан. В Петербурге Мандельштам не дожил бы до 38-го года...

Непрерывная слежка и раннее запрещение печататься (1923) были естественным следствием общего положения Мандельштама, но в Ленинграде все оборачивалось острее и откровеннее, чем в Москве. У меня ощущение, что Москва имела кучу дел на руках, а Ленинград, от дел оставленный, только и делал, что занимался изучением человеческих душ, которые предназначались для уничтожения. Еще неизвестно, уцелел ли бы Мандельштам, если бы к моменту послекронштадтского террора находился в Ленинграде. Террор развернулся во всю силу, и Москва еще давила на Ленинград, обвиняя местные власти в том, что они не дают воли рабочему классу излить свой гнев».

Со своей стороны, я бы внес предложение сократить вполуполовину ленинградский штат КГБ, ибо чересчур много на пустынный наш город, на душу интеллигентного населения. Безделье и праздность порождают опасную деятельность, надо как-то оправдать свое существование, привилегии, ставки, расплзшийся штат. Да и накопленную энергию куда-то деть.

Так и возникло сначала дело Миши Хейфеца, а потом Володи Марамзина – оба высосаны из пальца. И любое другое окажется фикцией.

Причина и следствие обменялись местами: Миша и Володя понадобились лишь для того, чтобы доказать необходимость их и наших преследователей и мучителей.

Володя сидит в тюрьме, а мы, елико возможно, от него отмежевываемся, отрешиваемся. Почему, когда посадили Бродского, я подписывал какие-то письма в его защиту, а сейчас меня носит по стране ветром отчаяния, страха и брезгливости, я не хочу встречаться с этими въедливыми и вкрадчивыми людьми, не хочу болеть сифилисом, не хочу, чтобы сидел Миша Хейфец и судили Володю Марамзина, но что я могу сделать? Мы прячем Солженицына и Бродского, Библию и Мандельштама, мы обыскиваем самих себя, ищем крамолу и не знаем, в чем именно она, – прячем письма, фотографии, дневники. Мы прячем самих себя – ура, мы спасены, но это уже не мы, ибо мы прекратили существовать, перестав быть собой.

Нас нет больше нигде – хоть весь свет обыщи. Защищая свою жизнь, мы ее окончательно утратили. КГБ добился того, чего хотел: поселил среди нас раздор и страх, напугал нас, мы стали говорить еще тише, еще реже, пока вовсе не замолчали, либо говорим вовсе не то, что говорили прежде.

Вот мой стыд и позор – в октябре, в гостях у кого-то, поддавшись общей панике и инстинктивному искушению предательства, я назову Володю дураком – просто так назову, без нужды, из страха, что среди гостей есть стукач, может быть, даже из неосознанной надежды, что этот воображаемый стукач донесет куда следует о моем верноподданничестве, а значит – из угодничества. Конечно, я не ставлю в вину Володе то, за что он сидит – еще этого не хватало! – а дураком ведь я его называл и прежде, он и в самом деле дурак, так что же, оттого что он сейчас в тюрьме, я должен думать о нем иначе – вряд ли в тюрьме умнеют...

В этой низости я признаюсь – до сих пор мне за нее стыдно.

Я вступил сам с собой в недостойную игру. Потом, когда я начну свой долгий – длинной в этот роман – спор с Сашей, то начну его поначалу, как спор с самим собой – с Сашей мне надо размежеваться, чтобы вытравить в себе потенциального коллаборациониста и предателя.

Саша и Ося – два полюса нашей ленинградской жизни, два моих псевдонима: одного из них я мешаю с говном, другого идолизирую. Саша и Ося – два моих alter ego, мое прошлое и мое будущее, то, что я в себе ненавижу, и то, что пестую и возвращаю.

Я добавил обоим аргументы, укрепил их позиции. Домыслил за них мотивировки, объяснил их поведение. Два моих литературных детища – Саша и Ося. Но ведь были же, черт возьми, на самом деле два таких человека, не приснились же они мне в моем сне о Ленинграде!

Один из них до сих пор живет в этом городе, а другого мотает по белу свету...

Глава 13. ТРИ ПОЭТА

I

*Позвольте, Клепикова Лена,
пред Вами преклонить колена.
Позвольте преклонить их снова
пред Вами, Соловьев и Вова.
Моя хмельная голова
вам хочет ртом сказать слова:*

II

*Февраль довольно скверный месяц.
Жестокость у него в лице.
Но тем приятнее заметить:
вы родились в его конце.
За это на февраль мы, в общем,
глядим с приятностью, не ропщем.*

III

*На свет явившись с интервалом
в пять дней, Венеру веселя,
тот интервал под покрывалом
вы сократили до нуля.
Покуда дети о глаголе,
вы думали о браке в школе.*

ИБ

Я не помню, о чем думал в школе: о глаголе – менее всего. Мы были политическими детьми – какой там глагол, когда вокруг черт-те знает что происходило. Посадили врачей и объявили извергами рода человеческого, а спустя несколько месяцев выпустили, умер Ста-

лин, вознесенный на небо, а потом низринутый оттуда Хрущевым и выкинутый вон из Мавзолея.

События школьной нашей жизни накладывались одно на другое, мы не думали ни о глаголе, ни о браке, мы думали и думаем до сих пор, хотя понимаем всю бессмыслицу нашего думания, о политике – и только о ней, увы...

Надо вспомнить какой-нибудь из наших с Леной совместных дней рождения – мы и в самом деле, не сговариваясь, явились на свет Божий с разницей в пять дней: Лена в Костроме, я в Ташкенте. Как Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Петр и Феврония одновременно умерли, так мы одновременно родились, что, возможно, также является отметиной судьбы, знаком нашей любви, Богом предусмотренной.

День рождения мы обычно устраивали между 20 и 25 февраля, чтобы званый день пришелся на субботу, и число поэтому каждый год менялось – его и в самом деле не было в календаре ни у друзей, ни у нас самих:

IV

Куда те дни девались ныне
никто не ведает – тире —
у вас самих их нет в помине
и у друзей в календаре.
Все, что для Лены и Володи
приятно – не вредит природе.

V

Они, конечно, нас моложе
и даже, может быть, глупей.
А вообще они похожи
на двух смышленных голубей,
что Ястреба позвали в гости,
и Ястреб позабыл о злости.

VI

К телам жестокое и душам,
но благосклонное к словам,
да будет Время главным кушем,
достанется который вам.
И пусть текут Господни лета
под наше «многая вам лета!!!»

Через три месяца «Ястреб» уедет в Америку и через три года напишет в Коннектикуте стихотворение «Осенний крик ястреба»: небрежно брошенное в заздравном стихе сравнение будет развернуто в длинный стиховой сюжет – 120 строк.

Что касается «двух смышленных голубей», то они эти три года будут ворковать, становясь на горло собственной песне, пока вся эта затянувшаяся песня не встанет одновременно у обоих комом в горле – ни проглотить, ни выплюнуть.

Кстати, в 72-м году Ося не смог прийти на наш день рождения, а стихотворение вручил спустя несколько дней, зайдя к Лене в «Аврору». Нет, он не принес его – он сел напротив Лены и прямо при ней его записал. Конечно, он сочинил его заранее, но было ли оно у него записано или он держал его в голове – не знаю.

Он всегда приходил без подарка – денег не было, хотя его гордость, по-видимому, и страдала от этого. Он честно отработывал свой хлеб – читал стихи, и всегда это был коронный номер вечера, мы забывали обо всем и сидели потрясенные.

Все, кроме Саши – я искоса иногда поглядывал на него, он не мог справиться со своим лицом, я его не осуждал – я ему сочувствовал.

На днях рождения у нас было обычно много народу, хотя с каждым днем все меньше и меньше – уехал Бродский, посадили Володю, с каждым годом дни рождения становились скучнее, ничтожнее и опаснее: в 1975 году я решил и отменил день рождения вовсе – 19 февраля начался суд над Марамзиным, чуть ли не каждого из нас таскали в КГБ, я взял грех на душу и заподозрил в одном из гостей если не добровольного сексота, то подневольного осведомителя, стукача по принуждению (или, как мы шифровали для телефонных разговоров, предполагая, что их подслушивают – дятел: потому что тоже стучит).

Страх перед стукачеством, мания преследования, всеобщая подозрительность – хроническая болезнь советского, нашего времени, не менее, кстати, опасная, чем само стукачество, и также инспирируемая КГБ. В стукачестве все подозревают всех – друзей, жен, детей (хрестоматийный, хотя и давний пример – Павлик Морозов). Такова тотальная подоплека нашей жизни, а КГБ с помощью страха перед стукачеством насаждает страх перед КГБ и страх вообще. У Бродского есть длинная драматическая поэма «Горбунов и Горчаков» о двух соседях по палате в психушке: один доносит на другого. Или – точнее – другой подозревает первого в доноситечестве. Или тот и в самом деле стучит?

Единственная возможность выяснить истину – обратиться с запросом в КГБ.

Короче, эта болезнь знает эпидемические вспышки, когда мания преследования охватывает всех повсеместно и без разбору, многие болеют тяжелой, изнуряющей и неизлечимой ее формой, а в стертых проявлениях она поражает каждого и никогда полностью не проходит.

Я ей подвержен не менее других, а сейчас, когда пишу этот роман – особенно.

«В Петербурге эта болезнь – мания видеть во всех стукачей – достигла самого высокого уровня, – пишет Надежда Мандельштам. – Она отравляет жизнь людям и сейчас. Петербург – проклятый город, „сему месту быть пусту“».

В этой атмосфере сгущающегося страха и протекал вроде бы вполне локальный конфликт двух русских поэтов.

На людных наших сборищах их вражда была не так заметна – они садились в разных концах стола, и конфронтация между ними, если и была, то незримая. Другое дело, скажем, у Яши Гордина на малолюдных его днях рождения, которые все были испорчены, во-первых, более чем скромной закуской – Яша был аскет не только по отношению к себе, да и беден тогда, во-вторых, теми флюидами вражды, которые, как электрические разряды, вспыхивали между Осей и Сашей. Помню один такой день рождения – Яша справлял его у приятеля с чудной, певучей такой фамилией, которую я запомнил, – несколько часов сряду мы молчали, напряженно следя за жестокой этой дуэлью, и одна Лена, выпив лишнего и перестав замечать что-либо окрест себя, веселилась, поддразнивая костенеющего в собственном величии Игоря Ефимова.

Музыкальную фамилию Яшиного приятеля вспомнил – Певцов, но, впрочем, ни он, ни сам Яша, ни даже Игорь отношения к моему рассказу не имеют. Если что и имеет, то Лили Марлен, солдатскую песенку о которой в собственном переводе Ося пропел нам, аккомпанируя себе постукиванием ладони по столу – это был триумф на периферии. Еще он схватывает сходство, рисуя своих приятелей, но это и вовсе увело бы сюжет в сторону. Вообще, приходится многое опускать, чтобы не упустить суть.

Я далеко не сразу все понял и одну оплошность-таки совершил.

Приехал Евтух – так мы называли Женю Евтушенко между собой, а Бориса Слуцкого: Борух – и места себе не находил в чопорном Ленинграде. Я позвал его, Сашу и Осю; вдобавок

еще одного театрального ерника (Женю Колмановского), зная, что ни Ося, ни Саша, ни мы с Леной стихов Евтуха не любим, а ерник с провинциальным своим саратовским вкусом был большим его поклонником, хотя и не был с ним знаком. Вышло все из рук вон плохо. Ерник закомплексовал перед любимым поэтом, для храбрости напился и стал ерничать, подступая к Евтуху со своими изоощренно-извращенными шуточками. В Ленинграде к его шутовской манере попривыкли, у него был свой благодарный зритель-слушатель, который сравнивал его то с Сократом, а то с Розановым, для Евтуха же все это внове. К тому же, незадолго до этого, днем, в кабаке нашего Дома писателей кто-то Женю оскорбил, обидел, вот он и взял реванш у нас, и ерник был смят длинной менторской филиппикой Евтуха. Я пожалел тогда, что пригласил моего приятеля ерника, а теперь думаю – слава Богу, что так сделал: оттянул развязку этого вечера.

Стали читать стихи. Первым прочел Евтух – Лене, Саше, Осе и мне стихи не понравились, а ерник решил отомстить за выговор и вместе с нами промолчал, не выполнив той единственной функции, ради которой был приглашен. Если бы Евтух читал стихи кому-нибудь одному, то ни один из нас, наверное, не посмел бы так вот, как сейчас, обидно отмолчаться, как будто и не читал Евтух стихи. А так мы стыдились друг друга и молчали – стихи были слабые и слушать их было стыдно.

Потом стал читать Саша – читал плохо, киксовал, я за него немного переживал как за собственную креатуру, но его стихи, возможно, прозвучавшие бы вчера или позавчера – или завтра – сегодня, в присутствии Бродского и в преддверии его чтения, не звучали вовсе, были вялыми, невнятными, ненужными. Как раз завтра, именно завтра, с отъездом Оси, они зазвучат и прозвучат – его отъезд временно усилит Сашину акустику и одновременно ослабит его поэзию, хотя Сашу уже ничто не успокоит, как царицу в пушкинской сказке, которая, удалив соперницу-падчерицу, чуть не ежедневно требует ответа от волшебного своего зеркальца – она ли самая красивая на свете? – а узнав, что не она, «положила иль не жить, иль царевну погубить». А пока что Саша и читал стихи как-то скороговоркой, смял, скомкал несколько совсем неплохих, торопился, стыдился и зная заранее, что не прозвучат они сегодня – здесь. И снова мы все молчали, да и неудобно было как-то, промолчав после Евтуха, сказать доброе слово Саше.

И Бродский молчал.

Ах, Ося, Ося! Я даже не знаю, стыдно это или нет, зная свою силу, предвкушая свое чтение и свою такую легкую в общем-то победу, ибо победа не в чтении, но задолго до него и после него – в судьбе, стыдно или не стыдно так вот отнекиваться, кокетничать, а потом начать, и удивленно замолчит мой приятель ерник, потрясенный чтением Бродского, которого слышит впервые, и Евтух забудет о покровительственных – по отношению к Бродскому – своих обязанностях (какое там покровительство!), и помрачнеет Саша, превратившись на глазах в маленького озлобленного карла, и кажется впервые в этот вечер я пойму не стихи Бродского, а Сашины, их тонкий версификаторский обман, их стилизаторский, подложный характер – пойму впервые, но не окончательно, истина мимоходом, точнее мимоходом, задевает меня и исчезнет – в тот вечер я все-таки слушал Осю, а не думал о Саше.

Господи, помилуй меня – минуй меня, зависть, испепеляющая, иссушающая, уничтожающая вконец человека.

Как проста и элементарна ее механика, даже когда она посещает одаренных людей в присутствии гения.

Я вспоминаю, как всю нашу профгруппу литераторов – этакий жидовский предбанник Союза писателей, будущие его члены либо те, кому от ворот поворот – мобилизовали на выборы: чтобы поторапливать нерадивых избирателей, дабы те, не мешкая, проголосовали за блок коммунистов и беспартийных, демонстрируя гражданскую свою активность. У каждого из нас был свой участок, свои пять-шесть домов, и в штабе висела диаграмма,

которая, намекая на не объявленное соревнование между нами, должна была поторапливать уже нас, агитаторов, и я помню необычайную Осину активность, словно он демонстрировал Советской власти, на что он способен, и его дома проголосовали первыми, Бродский их мобилизовал, уговорил, сагитировал – и гордый своей победой первым покинул избирательный участок.

На дне рождения у Игоря он легко отбил у меня девицу, за которой я было приударил, а отбив, тут же забыл о ней, и девица ходила обиженная и неприкаянная. Ему нужна была победа, а не добыча, он был охотником, которого интересовала не дичь, а приз.

Ему надо было быть повсюду первым, иначе он не мог, не умел, он и из школы ушел, кажется, из восьмого класса, оборвав советскую свою судьбу, нарушив ненарушаемую ее предначертанность, чтобы не смешаться со всеми, не уподобиться им.

Представляю себе ужас еврейских его родителей, когда он бросил школу – а что бы я сказал своему балбесу, если бы он поступил так же?

А Саша кончил школу с золотой медалью и психологию отличника пронес через всю свою жизнь.

Боюсь, я предпочел бы для моего сына Сашину судьбу, а не Осину: что я – враг своему ребенку?

А для себя?

Чего гадать – отличником я никогда не был, а примерять на себя судьбу гения нелепо.

А на том памятном и почти средневековом турнире поэтов у нас в квартире на Второй Красноармейской улице оба, и Саша и Евтух, были как бы впервые потрясены поэтической мощью Бродского, что никак не нарушило всесоюзную популярность Евтуха, но вконец исказило литературную судьбу Саши. Я даже не о самой зависти, но о тех причудливых узорах, которые она выткала, о тех извилистых путях, по которым пошел Саша, чтобы ее преодолеть или скрыть. Именно с этого вечера начались его душевные метания. Саша то резко, наотмашь отрицал Бродского, то привлекал его в друзья и подверстывал в личный именной список, который служил ему поэтическим пьедесталом – и на него вскарабкивался.

Ося кончил читать, и мы снова молчали, но молчали уже иначе, чем прежде – вечер был испорчен: первым ушел ерник, за ним Саша, один, измочаленный, в тоске и тем не менее торопящийся попасть в метро до его закрытия – в жизни он меркантилен не менее, чем в поэзии. Бродский и Евтух посидели еще с полчаса – мы мирно о чем-то болтали, только не о стихах.

За два дня до отъезда из СССР Ося скажет мне о странной роли Евтушенко в его изгнании – скажет смутно, неопределенно, неуверенно, мучаясь отсутствием точных сведений. Спустя месяца полтора версию этой истории я услышу от Евтуха. Я ни словом не обмолвился о той намекающей информации, которую получил от Бродского, Евтух заговорит сам, причем придаст своему рассказу особое, историческое значение.

Не помню, куда и зачем мы мчались с ним на его машине по пустынной Москве, и разговор шел о чем-то совсем другом, и вдруг он затормозил машину на каком-то пустыре и стал мне что-то быстро и озабоченно шептать, и я не сразу понял – о чем, собственно, речь, а он все шептал и спорил с кем-то, спорил ожесточенно и безнадежно.

Суть сводилась к тому, что, когда Женя в очередной раз пересек океан в обратном направлении, многочисленные его чемоданы потрошили на таможне несколько часов подряд, причем процедура была оскорбительной, плюс кое-чего Женя в чемоданах потом не досчитался. Он даже обиженное стихотворение об этом написал: эх, мол, Родина, я думал, ты меня цветами встретишь, как и положено большому поэту, выполнявшему высокую миссию за твоими рубежами, а ты меня обыском – не стыдно тебе, Родина! Обида была вполне справедливой, а вот пафос несколько завышен, не соответствовал событию: обыск на таможне – дело обычное, особенно для таких международных гастролеров, как Евтух, и плата за

многочисленные вояжи не так уж велика, хотя он к этому и не привык. Истинно русский поэт – пусть не по происхождению, ни капли русской крови, а настоящая фамилия Гангнус, но зато и ни капли еврейской, что в русской поэзии сейчас довольно редко (в отличие от прозы), самый популярный в народе поэт – сравниваю с современниками и со всеми русскими поэтами вообще, всех, так сказать, обозримых разумом времен, русский не только по спекулятивной, но и по искренней любви к России, что тоже раритет, вспомним Вяземского³, русский с ног до головы, русский по страсти, по программе, по надеждам, по идеалам, по знаменам, транспарантам и лозунгам – русский поэт Евгений Евтушенко относился к России пугливо и предпочитал в бытовые отношения с ней не вступать. Он всюду – в ресторан ВТО или на Братскую ГЭС, на БАМ или к отдыхающим шахтерам в Коктебеле (я имел честь сопровождать его к ним) – являлся как знаменитый поэт и пасовал, когда ему приходилось быть на общих основаниях.

Я помню, как потрясен он был хамством продавщицы, выбирая какую-то ювелирную мелочь в магазине. Помню полную его растерянность и страх, и затравленность, когда на троллейбусной остановке на Загородном проспекте в Ленинграде, где мы стояли после его и Межирова вечера, который я вел, он получил под дых от одного не в меру патриотичного и в меру выпившего гражданина – в ответ на какую-то возбужденную Женину реплику о дефиците чего-то где-то у нас в стране. Мы всей ватагой вошли в троллейбус, защищая Евтуха от разъяренного патриота, а Женя вдруг, сквозь весь троллейбус, кинулся к водителю, и мы услышали пронзительный мальчишеский его голос, срывающийся от волнения на дискант: «Я – знаменитый русский поэт Евтушенко, а этот, – и Женя смешно взмахнул рукой и указал назад, в нашу сторону, где мы (Саша в том числе) встали живой стеной на пути советского патриотизма, – а этот, – в голосе Жени закипали слезы, обида была великой, потому что „этот“ был потенциальным Жениным слушателем и читателем, – а этот меня бьет! Немедленно остановите троллейбус, закрой те все двери, никого не выпускайте, вызовите милиционера, я – знаменитый русский поэт Евтушенко!»

(Да не сочтет читатель эти его слова за пародию, я записал их слово в слово, как только мы всей ватагой ввалились к нам домой – и снова читали стихи, но Бродского среди нас уже не было.)

Я встретился как-то с Евтухом, когда он в очередной раз проштрафился – послал телеграмму в защиту Солженицына – в тот сенсационный день, когда того посадили на самолет в Шереметьево, а выпустили во Франкфуртском аэропорту. Жене все сходило с рук, и это вызывало самые разнообразные к нему претензии, переходящие порой в срамные подозрения – от всего этого я отмежевываюсь, ибо не пойман – не вор, и не знаю как в плане практическом, но в нравственном: лучше недобздеть, чем перебздеть. Та же судьба скоро постигнет Володю Марамзина – привыкшая к потокам исторической крови, русская интеллигенция успокаивается только, когда кого-нибудь из ее среды вздернут либо поставят к стене. Хлеба ей мало, ей нужны зрелища, страна хочет иметь своих героев и ради этого готова поставлять жертвы в любом количестве. Я помню, как все успокоились, когда арестовали Андрея Амальрика – выходит, зря подозревали, что он стукач.

В тот раз Евтух был разнообразно, но по-божески наказан – кто-то его пожурил на писательском собрании, отменили его радиовечер, полетело несколько его стихов. Среди прочего запретили ему на несколько месяцев выезжать из Советского Союза, и это более

³ Я не люблю сноски, но на всякий случай, для тех, кто слова поэта-князя забыл: «Неужели можно честному человеку быть русским в России? Разумеется, нельзя: так о чем же жалеть? Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России – такой, как она нам представляется. Этот патриотизм весьма переносчив. Другой любви к отечеству у нас не понимают... Любовь к России, заключающаяся в желании жить в России, есть химера, недостойная возвышенного человека. Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми ее недостатками, пороками, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию уважать нельзя».

всего и уязвило Женю, было самым жестоким для него наказанием. Он мне тогда говорил, что места себе не находит, сердце болит, больше месяца ему в Советском Союзе не выдержать! Привожу этот факт не в осуждение и не в похвалу, но в качестве живого парадокса: самый народный и самый русский поэт Россию в большом количестве – больше месяца – переносит с трудом.

А каково было Пушкину, так и не выпущенному царем за гра ницу?

А каково каждому советскому человеку – не кумиру нации и не еврею с его запасным выходом в эмиграцию, а простому советскому смертному?

Все я не о том – пишу роман урывками, и дневник перебивает сюжет...

Так вот – возвращаясь к сюжету – Евтух, не досчитавшись чего-то там в своих чемоданах, обратился в КГБ, где был принят Андроповым и провел в дружеской беседе с ним несколько часов. Зашла речь и о Бродском – это было всего за месяц до его стремительного выезда отсюда. И будто бы Андропов спросил у Жени, какой ему представляется здесь, у нас судьба Бродского, и представляется ли она ему здесь. И Женя, угадывая ответ, которого от него ждут, сказал, что нет, не представляется. И Андропов будто бы согласился с тем, что не представляется, потому что шефу КГБ тоже как-то очень было трудно представить судьбу Бродского в России благополучной.

Станный это был, должно быть, разговор: два главных человека – главный надсмотрщик и главный поэт, и обоим почему-то существование Иосифа Бродского в СССР не представляется. Ну, ладно, Андропову, хотя во многом именно от него зависело жить Бродскому здесь или не жить, но почему Евтух не мог представить себе опубликованными в советской печати Осины стихи, а писание и публикация стихов – это ведь и есть существование поэта? И будто бы Женя тогда сказал Андропову, чтобы по возможности упростили формальности и облегчили отъезд Бродского. Ему и в самом деле упростили отъезд – Бродский едва успел собрать вещи и вылетел отсюда, как ядро из пушки.

Я не люблю, когда Евтух напускает на себя таинственность, чтобы рассказать, как Фидель Кастро вручил ему браунинг, а Роберт Кеннеди, под рокот горячей воды в ванной, поведал ему, что Синявский и Даниэль были выданы ЦРУ, за что от КГБ была получена какая-то важная для Америки информация. Женина конспирация безвкусна и доверию не способствует. Но Бог его знает – может быть, Фидель и в самом деле дал ему браунинг, а Роберт Кеннеди поведал тайну разоблачения двух советских писателей, хотя вряд ли все-таки в ванной – это скорее советский образ. Может быть, все дело в том, что Женю подводит вкус, и он не находит правдоподобной формы для правды?

Я понял, что он мне рассказал о разговоре с Андроповым в опровержение возможной версии Бродского. А откуда Ося все это взял? От того же Евтуха? Вряд ли от Андропова...

Повинную голову меч не сечет, а Женя, похоже, был не уверен, правильно ли он поступил, угадывая мысли и желания председателя КГБ.

А какое чувство было у Пастернака после разговора со Сталиным о судьбе Мандельштама?

Прошлым летом в Коктебеле, едва приехав и не успев еще пожать Женину руку, я подвергся с его стороны решительному и жестокому нападению – без обиняков он выложил мне все, что думает о Бродском, который испортил ему американское турне: инспирированная Бродским и компрометирующая Евтушенко статья во влиятельной американской газете, а из-за нее, впервые за все его поездки в Америку, полупустые залы, где он выступал. Фотограф нас заснял во время этого разговора, лицо у Жени на фотографии разъяренное.

Шквал агрессивных оправданий – Евтух настаивал на полной своей невинности перед Бродским.

Я склонен ему верить, убрав прилагательное «полная» – скорее всего он и в самом деле невиновен или виноват без вины, так что зря Бродский затаил на него обиду.

Сейчас я все объясню.

Как бы ни ругали Евтуха, знакомство с ним льстило любому его хулителю, и дело здесь вовсе не в личных его качествах, но в его славе, в его имени. Я помню, как Лена, когда я их знакомил, насмешливо пробурчала что-то о том, что, мол, это и есть знаменитый русский поэт Евтушенко – Женя обиделся, а зря – ему бы радоваться: Лена съязвила от робости, как потом от робости пытался язвить страстный его поклонник у нас на вечере, оказавшись за одним с ним столом. Из ленинградского нашего клана меня угораздило познакомиться с ним чуть ли не первым – или первым Ося? – и я даже как-то написал о нем статью для «Нового мира», вызвав неудовольствие как его поклонников (зачем ругаю?), так и его хулителей (зачем хвалю?), а знакомство с ним – враждебное недоумение моих ленинградских приятелей, о которых пишу этот роман. Саша мне тогда ответил стихом:

Кто о великом Евтушенке
Нам слово новое сказал?
С его стихов сухие пенки
Кто (неразборчивый) слизал? —

и вот как, спустя год (я же их и познакомил, стоящих на коктебельском пляже – Саша в синих советских трусах до колен, а Женя в разноцветных импортных плавках), Саша сменил мечи на орала, гнев на милость, невнятное недовольство на очевидную гордость знакомством, хотя и иронизируя слегка над ним (цитирую следующее Сашино ко мне послание – из того же Коктебеля):

Но мне, проведенному в Крыму
Дней двадцать рядом с Евтушенкой,
Мне нынче бабы ни к чему:
Я им даю под зад коленкой.
Вниманьем гения согрет,
Его в натуре наблюдая,
Я понял: правды в жизни нет!
Но есть покой и Лиепая...

Под Лиепай, на морской нашей погранзаставе, мы тогда с Леной и Жекой отдыхали, и туда Саша и направил нам свое рифмованное послание, подражая не столько дружеским посланиям пушкинской поры, сколько привычке Бродского работать стихами даже в эпистолярном и поздравительном жанре – свойство насквозь поэтической натуры.

В русской поэзии XX века, кажется, только он и Пастернак смогли этот стихотворный треп вывести в высокий ранг подлинной поэзии. Саша стал писать послания с отъездом Бродского, стараясь и здесь его подменить, обесточить и нейтрализовать: его послания – своими; изгладить из памяти в том числе и эту его работу – есть я, живой, невредимый, лояльный, что вам до рыжего скитальца?

Когда это не получится, Саша попытается вписать Бродского, предварительно уменьшив его и исказив, в собственный стих – в качестве крошечной стаффажной фигурки: в одном стихотворении назовет его рыжим другом, что верно только в отношении масти ленинградского Агасфера и противоположно в остальном, а в другом – веткой общего дерева, где другая ветка – он, Саша, а та ветка, Ося, как бы от имени всего дерева вытянулась туда в окно (эзопова феня, намек на пушкинско-петровское окно в Европу) и смотрит и наблюдает, но не сам по себе, а словно бы за всех нас, которые тоже ветки на том же дереве, но в окно почему-то не просунулись. Стихи эти меня особенно разозлили: какой друг – когда

враг! какая там ветка – сами же ее дружными усилиями срубили, а теперь обратно пытаются приделать к дереву. Цех ремесленников изгоняет мастера, а когда тот прославился, называется его именем! Если настанут когда-нибудь в России иные времена, Саша еще станет его популяризатором и напишет предисловие к книге его стихов.

О эти метаморфозы, которые не снились даже Овидию!

...так вот – возвращаясь к нашим баранам, или как написал Бродский:

Итак, возвращая язык и взгляд
к баранам на семьдесят строк назад,
чтоб как-то их с пастухом связать —

...так вот, я не хотел бы, чтобы читатель воспринял перечисленные здесь эпизоды в качестве исчерпывающей характеристики побочного моего персонажа. В этих моих домашних записях Евтушенко возник почти случайно, а он заслуживает отдельного и более сложного разговора – если не как поэтическое, то как политическое явление. Я о нем писал как критик и, даст Бог, еще напишу – не сейчас и не здесь.

А прошлогодняя коктебельская Женина на Осю ярость объяснима была отчасти еще тем, что Женя бросил в этот день курить – это мне сообщила в его оправдание Галя, его жена, а я по себе знаю, сколько это стоит нервов. При их нью-йоркской встрече я не был, а знаю о ней только со слов другого Жени – Рейна, а тот обладает не только цепкой, почти патологической памятью, но и богатым воображением. Сравнивать различные версии мне сейчас недосуг – я пишу о другом, а Евтуха подверстал вот для чего.

В конце концов я пишу прозу, а не протокол и могу себе позволить следующую гипотезу, тем более абсолютно в ней уверен, хотя никаких доказательств у меня, естественно, нет, да и какие могут быть доказательства, когда речь пойдет о бремени страстей человеческих.

Ежели Осины смутные подозрения верны, и Евтух в самом деле способствовал его отъезду отсюда туда, отъезду, самим Бродским взлелеянному, и даже предпринимались какие-то сумбурные матримониальные прожекты с некоей искренне в него влюбленной Кэрролл, то одно все-таки личные планы, а другое пинок под зад – есть некоторая разница – так вот, если Женя действительно способствовал высылке Бродского, то не на том ли вечере у нас возникла сама эта мысль, что Бродский – лишний, изгой, конкурент, возмутитель спокойствия и разрушитель цеховой иерархии, где у каждого было свое место под солнцем русской поэзии, а у него не было, и он отсутствием этого места сбивал всех с толку, разрушал с таким трудом разложенный пасьянс: здесь Евтух, здесь Вознесенский, а здесь Кушнер, о котором вскоре после отъезда Бродского Евтух напишет покровительственную статью как о главном ленинградском поэте. Мало того, что сбивал с толку и мешался под ногами – Бродский мощно наплывал на русскую поэзию и застилал весь ее горизонт, не позволял лениться и чваниться – нечем! – мешал их игре в поэзию и литературу, сам даже не подозревая об этом.

Или – подозревая?

Так вот, не на том ли нашем неудавшемся вечере, когда Евтух и Саша так дурно читали свои стихи и когда Ося забросил куда-то за облако свое лассо, и мы долго вглядывались в ночную даль, не вернется ли оно назад – нет, не вернулось – и Бродского куда-то умчало и мы было погнались за ним, но – куда там! куда нам до него! – и только глухой, kloкочущий, гортанный и картавый голос долетал до нас из его носо-глотки, и мы удивились, опомнившись и увидев, что Ося как ни в чем не бывало поедает филейную вырезку, так ловко поджаренную Леной Клепиковой, что кровь фонтанчиками била из четырех крошечных дырочек, когда он втыкал в нее свою вилку, жует, пьет, потеет – как будто бы ничего не произошло и не он только что улетел черт знает куда и мы не могли его догнать – так вот, не в этот ли злосчастный вечер пришла одному из нас мысль устранить Бродского из нашей жизни –

какой там дар Изоры, до чего ж устарел сальериевский фармацевтический способ, когда есть куда более верный! – и мысль эта промелькнула среди нас, как шаровая молния, и исчезла, никого смертельно не задев.

Не мне, страстному его почитателю.

Не Лене, плюхнувшей на его тарелку лучший кусок мяса.

Не моему приятелю, балагуру и ернику – он был скорее моим Сальери, хотя я и не был Моцартом, увы...

Однако – сейчас я очень отчетливо это вижу – и не Евтуху: он оказался лишь исполнителем чужой воли, внушенной ему Сашей, может быть – бессознательно.

Ибо есть страсти, которые минуют разум, сметая на пути его доводы.

Не было им двоим на советской земле места – и ни регулярные, один за другим, сборники, ни авторские вечера, ни положительные рецензии (тогда в основном мои) – ничто не могло Саше помочь, но только смерть соперника или его изгнание, что в наших отечественных условиях могло сойти за одно, хотя – о счастье! – не тождественно.

Я знаю, что такое страсть – можно внушить человеку любовь, как я когда-то Лене, а можно ли зависть? И не только зависть, но конкретный стратегический ход?..

Знал ли Евтух, что был в тот вечер перцепиентом, а его индуктором был Саша?

Догадывался ли о чем-нибудь вернувшийся с небес, упоенный своим триумфом и поедающий филейную вырезку Бродский?

Единственный раз в жизни я присутствовал на телепатическом сеансе, но понял это только сейчас, описывая давнюю ту встречу.

Как хорошо все-таки, что я пишу роман и ищу доказательства на глубине, а не на поверхности.

Потому что Саша был в тот вечер конгениален Осе, ибо зависть такая же испепеляющая страсть, как гений. Пусть даже эта страсть не созидательная, а разрушительная, как смерч, как смерть.

Глава 19. РАЗГОВОР С НЕБОЖИТЕЛЕМ – 1975

*Но, как всегда, не зная для кого,
твори себя и жизнь свою твори
всей силою несчастья твоего.*

ИБ. Шествие

*Но, как известно, именно в минуту
отчаянья и начинает дуть
попутный ветер.*

ИБ. Дидона и Эней

*Сохрани, Боже, ему быть счастливым: с счастьем лопнет
прекрасная струна его лиры.
Князь Петр Вяземский*

Значение поэзии ИБ проистекает из интимных условий его творчества – вот где завязь его таланта. ИБ обостренно ощущал тупик своей жизни – и ее биологическую конечность,

общую для всех нас, но от нас отдаленную, а для него слишком очевидную, близкую, и опасную, смертельную свою судьбу; и выхода не знал, не видел, не предвидел, даже и не предполагал вовсе в обозримые разумом, чувством и инстинктом времена. Темное царство, но без луча света в нем, без толики света, без щелки и без надежды. Не было ни выбора, ни выхода, а были одни стихи, и, кроме них, не было ничего: стихи – альтернатива реальности. Отсюда такая тягостная на стихи нагрузка – поэзия ИБ перегружена: не содержанием, а возложенными на нее обязанностями, кои она прежде никогда и ни у кого не выполняла. Стихи были для ИБ уходом от одиночества и небытия. Некому было больше верить и доверять – только стиху: он не выдаст, не предаст, не донесет, не изменит; последняя надежда в совершенно безнадежной ситуации – надежда на надежду, хотя и эта надежда истончалась и исчезала, а перспектива вдруг круто и резко обрывалась. И вера была не то чтобы мнимой, но «не более, чем почтой в один конец», и тогда Иов – а не Иосиф! – Бродский начинал свой чудовищный и кощунственный ропот и, следуя за далекими своими предками, вступал с Богом в конфликт, испытывая Его терпение, как Тот – его.

Тебе твой дар
Я возвращаю – не зарыл, не пропил;
и, если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,
что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена.

Поразительная – внецерковная и внеидеологическая – вера ИБ более всего проявляется именно в его ропоте: у него нет прямых отношений с властью, ибо для него она не враг, он ее не укрупняет своей борьбой с ней, но укрупняет себя – борьбой с Богом. Об этом есть в Библии: ночная борьба Иакова с ангелом. Об этом, комментируя библейский эпизод, писал Рильке: наши споры с жизнью мелки, нас унижает наш успех, мы побеждаем ничтожное и игнорируем великое, что против нас и что нас бы увеличило, вступи мы с Ним в открытую схватку и будь мы Им побеждены – все равно, мы бы росли Ему в ответ.

Поэзия для ИБ – не молитва, но открытый и напряженный диалог с Небесами (а не рупор их идей, как ошибочно классифицирует поэзию сам ИБ) – больше не с кем, но только с Богом: чтобы расти Ему в ответ. Другое дело, что разговор с Богом порою заглушался, и на месте прежнего собеседника оказывался новый, несравненно ниже прежнего: вместо власти небесной власть земная, на месте Бога генсек-маршал – так сказать, промежуточная инстанция.

И все же разговор с Небожителем – это не локальный либо случайный эпизод в поэтической работе ИБ. Бог – постоянный адресат его эпистолярной лирики. Думаю, что и обратно письма доходили, кстати, никем не перлюстрированные, ибо там, где ведется тайный просмотр и учет частных писем, язык божественный, как и поэтический, еще не изучен как следует. Полагаю, что и сомнения ИБ в отзывчивости респондента – это скорее всего сомнения Homo sapiens в собственных телекинетических способностях, которые – сомнения – наверное, неизбежны при непрерывном разговоре жителя земли с жителем неба (с учетом разделяющего их пространства): «Я глуховат. Я, Боже, слеповат». Ибо разговор этот не на равных: без излишнего пиетета и без молитвенного экстаза, но с обостренным ощущением априорной и непоправимой иерархии. «Взапуски с небом» – это скорее ветхозаветный принцип. Иначе говоря, кто кого – от Иакова до Иова, от Иова до Иосифа и от Иосифа до Иосифа.

Привлечение новозаветных легенд носит сугубо иллюстративный характер, и потому Христос уподобляется тому же Иову:

Там, на кресте,
не возоплю: «Почто меня оставил?!»
не превращу себя в благую весть!
Поскольку боль – не нарушение правил:
страдание есть
способность тел,
и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли
ее предел.

Здесь, конечно, соблазнительно было бы подставить иксовые и игрековые значения, но поэзия – не уравнение, и икс значит все и ничего, а не нечто конкретное.

Кого имел в виду Эзоп под Лисой, а кого под Виноградом?

Не все ли нам равно...

Одно ясно: конец перспективы есть неведомый предел человека или боли, который и понуждает нас искать выход в безвыходной ситуации.

Поэзия для ИБ – это избежание смерти (одновременно – на всякий случай – тренировка в ней), соломинка утопающего, распрямление под тем мощным атмосферным столбом, которым давит на поэта судьба вкупе с жизнью и государством. Поэзия – это активное сопротивление, а не молчаливая оппозиция. Поэзия – это сноски, опровергающая основной корпус текста. Поэзия – это вызов: Небесам, а не Л. И. Брежневу – ему письмо от 4 июня 1972 года, в день отъезда, написанное прозой и оставшееся без ответа.

ИБ однажды перефразировал Сократа: быть поэтом – упражняться в умирании. Таков императив таланта: постулировать индивидуальную судьбу в качестве всеобщего правила. Однако для ИБ это и в самом деле закон его мироощущения либо судьбы: от чего страдает Гамлет – от себя? от времени? Сделать упор на власти – неправомерно зависеть ее в значении. Предположить же в ИБ замкнутое трагическое мироощущение нарциссианского толка – значит сбросить ее начисто со счетов, хотя связь была теснейшей до жути, и «замерзший насмерть в параднике третьего Рима» – образ не вымышленный фантазией, но вынужденный обстоятельствами. И как знать, глухота ИБ – природная аномалия или приобретенное свойство, ибо «еловая готика русских равнин поглощает ответ». Здесь и возникает зимний, снежный, метельный, завьюженный образ – сквозной в поэзии ИБ и традиционный в русской: «Такой мороз, что колья убьют, то пусть из огнестрельного оружия», «В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны, стены тюрем, пальто, туалеты... Этот край недвижим». Образ державный и студеный, и даже за пределами России ИБ вспомнит:

державу ту,
где руки тянутся хвойным лесом
перед мелким, но хищным бесом
и слюну леденит во рту.

А может быть, ИБ принадлежит к тому типу людей с трагической душой, которые, как магнит, притягивают к себе трагедию обстоятельств? Так или иначе, все сюжетные перипетии его поэзии происходят среди трагических координат, ввиду смерти как постоянной – на все акты человеческой жизни! – декорации. Поэзия ИБ, обладая тайными ориентирами, мужественно кружит по минному полю, где смерть наиболее вероятна, а спасение – наи-

менее, и стихи пропитаны смертью насквозь, вымокли до мозга костей под ее проливным дождем.

Какое там «великое может быть» – необязательная, случайная ссылка ИБ на автора «Гаргантюа и Пантагрюэля»! Совсем иное ощущение – во всяком случае, вполне конкретное: Время, передвигающее шахматные фигуры. «Похороны Бобо», «На смерть друга», «Большая Элегия Джону Донну», «Стихи на смерть Т. С. Элиота», «Письмо в бутылке», «Холмы», «Горбунов и Горчаков», «Разговор с небожителем» – это блестящие ходы в шахматной партии, которая все равно неизбежно закончится смертью человека, но любой его зевек – смерть преждевременная.

Однако самое страшное – смерть прижизненная, когда «посмертная мука и при жизни саднит».

В чем она, эта прижизненная смерть?

Не думаю, что в разлуке – этот мотив не был ИБ разработан, но задет вскользь, мимоходом, моментально и начисто забыт: «В этом мире разлука – лишь прообраз иной».

В ощущении биологических либо божественных пределов? Вряд ли, ибо

Навсегда – не слово, а вправду цифра,
чьи нули, когда мы зарастем травой,
перекроют эпоху и век с лихвою.

Здесь, пусть гипотетическое, но возникает равенство, которое поэт обретает и теряет, доказывает и вновь сомневается: смерть – вечность – будущее – бессмертие.

Отныне, как обычно после жизни,
начнется вечность. Просто тишина.

Это было время, когда советская поэзия, восстанавливая прерванные связи со своей русской коллегой, реабилитировала и ввела в свой постоянный обиход слово «душа», и пииты с самозабвением пророков стали на все лады повторять эти пройденные еще в прошлом веке и затверженные эпигонами, но полузабытые в наше столетие поэтические азы; когда, казалось, поэзия предала забвению божественное свое происхождение и божественное назначение, но срочно, экс терном сдает школьный курс по собственной истории; когда открытием было сказать, что душа бессмертна, хотя об этом, по-видимому, подозревали уже Адам и Ева. Так вот, именно в это инфантильное для поэзии время ИБ совершенно для всех неожиданно, не стыдясь ни классических теней, ни анемичных современников, со всей ответственностью и легкомыслием, ему тогда свойственными, заявил, что душа за время жизни приобретает смертные черты. Литературным эпигонам казалось, что духовную эссенцию можно пить в чистом виде, припадая непосредственно к святым источникам русской классики, или, как однажды зло, но точно выразилась Юнна Мориц об одном поэте: «Я бы судила его за ежедневное изнасилование русской Музы» – в то время как эту эссенцию необходимо было добывать собственноручно из дерьма современной отечественной жизни.

Поэзия ИБ была сознательным отказом от переноса в современный стих готовых формул прошедшей поэзии. Сравнить его, увы, не с кем, ибо даже Андрей Вознесенский, с его поистине хамским отношением к классике, брал ее приступом, извне, ничего не щадя и все уничтожая окрест, потому что чужое, непонятное и враждебное.

ИБ находился внутри обложенной со всех сторон поэтической крепости, которая должна была сдаваться с минуты на минуту: единоземцев он ненавидел чуть ли не сильнее, чем захватчиков-иноземцев. Обречены были и те и другие: осажденные на смерть либо прозябание и приспособление, оккупанты – на дикость, зависть и жестокость. ИБ был непри-

емлем для обеих сторон, как обе стороны – для него. В эпоху смертельной битвы, в «пору метелей, спячки и доносов» он, лишенный группового патриотизма, был одинок на миру и продуваем всеми сквозняками. От варваров он взял не меньше, чем от «своих»: силу, энергию, мужество, непримиримость и молодость. Он воевал сразу же на два фронта, и ежели остался жив, то благодаря тому, что противники были слишком заняты друг другом, чтобы отвлекаться на «третьего». Он был пятой колонной в стане русской поэзии, своим он был невнятен, как и чужим. Чужие ненавидели его за культуру, свои за дикость. С помощью акмеистов и неоакмеистов (во главе последних вскоре встал Кушнер) ИБ преодолел варварский натиск, с помощью варваров протиснулся сквозь дружескую опеку эпигонского стиха и традиционных связей. «Я заражен нормальным классицизмом» – скорее его пытались заразить, а получилась превентивная прививка с легким недомоганием; ослабленная форма, а не серьезное заболевание.

Чем тесней единенье,
тем крошечней разрыв.

Даже ввиду близости неприятеля он не пошел на сговор со своими, отказался от консолидации родственного союза, боясь быть поглощенным им навсегда и без остатка. Защитники крепости распевали, стоя на стене, старинные песни и в ответ слышали гомерический смех варваров. ИБ сорвал свой голос на крике – какая там песнь! – пытаюсь перекричать и тех и других:

Пусть эхо тут разносит по лесам
не песнь, а кашель.

Уверовав в бессмертие души, ее обычно оставляют на произвол и заботятся преимущественно о теле. ИБ из современных русских поэтов единственный понял, что угроза – душе, потому что она смертна и беззащитна, но ее еще можно спасти: или сегодня, или никогда.

Это главное его отличие от библейского Иова: более, чем от физических и материальных невзгод, ИБ страдает от душевных. Такое даже ощущение, что тело выжило, спаслось, раны зарубцевались, а душа – нет.

ИБ совершает семантический перевертыш – душа смертна, но бессмертно оставшееся без души тело; во всяком случае, куда долговечнее, чем душа. Это основной его спор с Богом – под сомнение поставлена связь между душой и телом, неизменность, неотменность и вечность этой связи. В «Исааке и Аврааме» поразительны метаморфозы живого в мертвое, а мертвого в ничто: живые ветви – мертвые ветки – огонь – пепел – пыль. «Тогда они, должно быть, впрямь умрут, исчезнув, сгинув, канув, уничтожась» – это не синонимы, но градации исчезновения, ступеньки, по которым спускаются в Аид. У ИБ – ввиду смертности души – Лиров комплекс: мнимость обладания. Об этом у него несколько поразительных стихотворений, где ускользаемость жизни приводит к странному оборотничеству. Вроде бы все на своем месте: в открытом море резвится дельфин, ручей, а рядом сатир, канал, а в нем трирема с гребцами. Так в чем же дело?

Ржа, окись, патина...

Я приведу эти три отрывка, чтобы показать, как болезненно ИБ ощущает пропажу, как бьет тревогу в связи со смертью души, ибо тогда становится бессмысленной прежняя работа поэта и невозможной сегодняшняя – значение ИБ не только в том, что он ощущает себя последним поэтом на земле, но в том еще, что он выполняет все обязанности, возложенные Богом на последнего и единственного на земле поэта, в том числе погребальные и некрологические.

Фонтан, изображающий дельфина
в открытом море, совершенно сух.
Вполне понятно: каменная рыба
способна обойтись и без воды,
как та – без рыбы, сделанной из камня.

...
Сатир, покинув бронзовый ручей,
сжимает канделябр на шесть свечей,
как вещь, принадлежащую ему.
Но, как сурово утверждает опись,
он сам принадлежит ему. Увы,
все виды обладания таковы.
Сатир – не исключенье. Посему
в его мошонке зеленеет окись.

...
Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком.
Гребцы колотят веслами по суше,
и камни сильно обдирают борт.

Мир заменителей и суррогатов, потеснивший действительность и в конце концов подменивший ее собой.

Оскудение живой жизни и расцвет мнимой.

Поэт государственного масштаба, имперского мышления и политической дидактики, ИБ оказался во времени, когда ни о каком альянсе между Державиным и Фелицей не могло быть и речи.

Литературное отщепенство – это единственное, что ему оставалось. Его голос был, однако, усилен акустикой пустого зала. Так начинается мировая слава, минувшая отечественную.

Глава 27. САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ ГЕРОЕВ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

*Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру.*

Княжнин

*Я долго не хотел верить: Боже праведный! Иван Иванович
поссорился с Иваном Никифоровичем! Какие достойные люди! Что ж
теперь прочно на этом свете?*

Гоголь

*Теперь конец моей и вашей дружбе.
Зато начало многолетней тяжбе.*

ИБ

...Мы с Сашей сидели в Вильнюсе у Томаса Венцловы, поэта, интеллектуала, неудачника и алкоголика, человека совершенно лишнего в советской Литве и ей чужого, потому что вся литовская поэзия в это время с какой-то оголтелой решимостью ринулась в прошлое, в дайны, в нивы, в деревню и в историю, противопоставляя всю эту диковинную национал-историко-натурфилософскую идиллию советской власти, и Томас, усердный читатель и почитатель Рильке, Пастернака, Мандельштама и Бродского, оказался не у дел, в мертвом пространстве, затосковал и запил. Тонюсенькая книжечка его европейских стихов не шла ни в какое сравнение ни с многочисленными и жанрово разнообразными сочинениями его отца – обласканного Москвой народно-официального поэта, ни с патриотическими напевами его поэтических коллег – от сохи и от истории. Легко понять, сравнив с нашими березофилами, только что – и это существенно – без джингоизма и юдофобства последних.

Центр литовской культуры – Вильнюс, средоточие литовского национализма – Каунас. По-русски в нем не говорят из принципа – я с этим не раз сталкивался. В Каунасе был свой Ян Полак – во время студенческих беспорядков в мае 1972 года: самосожжение двадцатилетнего студента Ромаса Капанты. Каунасское управление милиции называют небоскребом, но не за высоту – с его крыши видна Сибирь: метафора или анекдот? В Каунасе шла «Охота за мамонтами» – откровенно, хотя и под жанровой вуалью притчи, антисоветская пьеса: ее постановщик Ионас Юрашас был изгнан из театра и в конце концов покинул СССР.

Мне показалось, что в Вильнюсе к Каунасу относятся снисходительно, но с тайным любопытством, а может быть, и с надеждой – на что еще надеяться литовцам?

Томас был скорее даже, чем вильнюсцем, – европейцем. Со своими он перессорился и откровенно враждовал – и с официальными, и с подпольными, и с крамольными, и с богемными кругами. Присовокупились неудачи с женщинами, он не мог надолго задержаться ни на одной – по крайней мере в Ленинграде он каждый раз появлялся с новой. Ощущение было такое, что он один-одинешенек на всем белом свете.

Сына его приятельницы чуть не вышибли из школы за то, что он написал на ранце: «Русские, вон из Литвы!»

Томас возмутился:

– Они за Литву без русских, но за советскую Литву – к Советам они привыкли и иначе уже не могут.

Тогда вмешался Саша:

– При чем здесь русские – будто русским хорошо: на них тот же крест...

– А кто же тогда при чем? – спросил я. – Русские – как Жорж Данден: они сами этого хотели, им и пенять не на кого, кроме как на себя. А литовцев, латышей и эстонцев советизировали насильно. Так что их сравнивать с нами нельзя. Мы имеем то правительство, которое заслуживаем, а литовцы в этом постулате явно лишние.

ТОМАС. Знаете, мы все хотим казаться Европой, но только в уменьшенном, портативном виде – диаскопической Европой, мультипликационной: все как там. Да и свет отраженный – мы ориентируемся на Польшу и через нее узнаем о том, что происходит во Франции. Испорченный телефон, искаженное знание – подражаем Европе, которую не знаем. Максимальные наши желания слишком минимальны и мизерны, чтобы дать толчок нации. Нам мешает наша ненависть к русским.

САША. В том-то и дело – мы все связаны с Россией. Если не этносом, то рождением, не рождением, то языком, не языком, так культурой, связаны пуповиной – нет разрыва! Пусть нам здесь плохо, но Россия дает нам свой масштаб и увеличивает нас.

ТОМАС. Это не совсем так. Я уж не говорю о том, что, когда человек рождается, пуповину обрезают, иначе он задохнется. Но это спор с метафорой, а я сейчас о другом. У вас гигантомания, Саша. Средний европеец, я не хочу быть увеличенным за счет России – зачем мне котурны, я хочу быть самым собой. Я за русские культурные связи – а у нас большинство культурной элиты их отрицает, но не за политические связи, а уж тем более не за географические и исторические. Я против насильственных связей – только добровольные. Да и вам зачем ходули – не понимаю: чужие меры. Они не увеличат ваш рост, даже не скроют его – простите, Саша, я не буквально.

Саша – маленького роста, даже меня ниже, и когда мы приехали с ним в Москву, злая Юнна успела мне шепнуть:

– Ты что – привез его в спичечном коробе?

Я. Вы, Томас – демократ и космополит, но простите, наше государство – наше, а не ваше, согласен – не с неба же оно на нас свалилось.

А если мы имеем не то правительство, которое заслуживаем, а то, которое не заслуживаем? Представьте себе у нас свободные выборы – кто победит? Диссиденты? Бюрократы? Технократы? Геронтократы? А что если – черносотенцы?

САША. Неправда! По кому вы судите о народе?

Я. Да хотя бы по моей теще!

ТОМАС. Ну, это последнее дело – судить по теще. Я ни одну свою тещу не любил, хотя они все были разных национальностей...

САША. А вы по себе судите – не считайте себя изгоем, мы – русские, мы представляем нацию и голосовать за охотнорядцев не стали бы.

Я. Еще бы – иначе бы вы проголосовали за свой смертный приговор. Вы-то себя, конечно, евреем не считаете, а они – вкуче с государством – считают: и никем иным. Это как в том анекдоте про сумасшедшего, который думал, что он ячменное зерно. Его подлечили и из больницы выписывают, а врач на всякий случай спрашивает: «Ну, а если вы встретите петуха, что тогда?» – «Тогда побегу!» – «Но вы же теперь знаете, что вы не ячменное зерно – зачем бежать?» – «Я-то знаю, но знает ли петух?»

Томас рассмеялся, а Саша нахохлился, хотя что ему злиться – будто мы первый раз об этом?

САША. Мы отмечены судьбой – русским рождением, все равно, кто мы – русские, литовцы, евреи. Это наш крест – и одновременно наше мужество, наша доблесть, наш гений: жить здесь и, испытав на себе эту чудовищную боль, остаться людьми и рассказать об этом другим, кто этой боли не испытал. Вы думаете, Мандельштам – гений от природы? Гением его сделала советская власть!

ТОМАС. А «Камень», написанный до революции? Да и добрая половина «Tristia».

САША. Разве это можно сравнить с воронежскими стихами?

ТОМАС. О чем вы спорите? Гений – это чудо, а чудо тем изумительнее, чем меньше соответствует его появлению обстановка. И неужели мы станем искусственно культивировать, лелеять, благословлять и превращать в фетиш эту «несоответствующую» обстановку в надежде, что она поспособствует появлению очередного «чуда»? Разве концлагерь – обязательная колыбель искусства?

Я. Христос родился на скотном дворе и лежал в яслях, и это великое чудо, но нужно ли потому уничтожать родильные дома и загонять всех рожениц в конюшни?

ТОМАС. А что до воронежских стихов, то будь они даже лучше петербургских, разве не предпочли бы мы все, чтобы не было ни воронежских стихов, ни воронежской ссылки, ни насильственной смерти?

Что нам дороже – жизнь человека или его поэзия? Или мы так чудовищно меркантильны?.. Мандельштама страдания не обогатили, а уничтожили. У него была своя динами-

ческая пружина роста – ему не надо было зарабатывать биографию в лагерях и тюрьмах. Его жизнь была и без того содержательной, перенасыщенной, а примитивный конфликт с государством, когда тебя травят, пытаются и уничтожают, может исторгнуть лишь крик боли и отчаяния, а не новое содержание.

Я. И потом – неужели мало для поэта конфликтов, заложенных в биологической, духовной, религиозной и нравственной его природе?

Его жизнь может быть внешне благополучной, но трагичной по сути.

Условия существования человека слишком тяжелы, чтобы усложнять их дополнительно. Скажу больше – примитивная травля, которой художник подвергается в тоталитарных странах, кроме всего прочего, застилает от него истинный драматизм мира – Мандельштам все равно к нему пробивался: не благодаря удушью, но вопреки ему. Надежда Яковлевна права. Как и тогда, когда она, споря с такими, как вы, Саша, апологетами страдания, очень точно усекает причину этой апологетики: как нужно любить себя, чтобы любить и лелеять на своем теле несуществующую рану...

САША. Почему – несуществующую?

Я. Да потому, что существующую любить нельзя – она болит, ноет, не дает заснуть, грозит летальным исходом. Я уж не говорю о том, что не всякое страдание есть мученичество. За неимением настоящих страданий разводят и культивируют искусственные, зато другим постулируют настоящие – без них, мол, нет художника. Тогда поблагодарим Сталина за «Воронежские тетради», а Гитлера – за «Дневник Анны Франк».

САША. Вы рассуждаете как иностранец...

Я. Почему это я как иностранец, а вы как русский? Так мы далеко зайдем – «Умом Россию не понять... В Россию можно только верить!»

Поставить на место Бога Россию – до чего все-таки Тютчев был безрелигиозен! Потому что верить можно только в Бога, ни в кого больше.

Или вы на манер Хомякова рассуждаете?

ТОМАС. А что Хомяков? У вас пошли уже столь специфически русские разговоры, что мне нужны сноски, комментариев.

Я. Как же – Хомякову нравится женщина, но она, видите ли, не впадает в священный трепет при слове «Россия», а посему – от ворот поворот!

САША. Только не надо в пылу полемики превращать Хомякова в идиота – разве у него про это стихотворение?

...Но ей чужда моя Россия,
Отчизны дикая краса,
И ей милей страны другие,
Другие лучше небеса!
Пою ей песнь родного края, —
Она не внимлет, не глядит!
При ней скажу я: «Русь святая!»
И сердце в ней не задрожит.
И тщетно луч живого света
Из черных падает очей:
Ей гордая душа поэта
Не посвятит любви своей.

Я люблю, как Саша читает стихи – глухо, отчужденно, почти неприязненно, создавая тем самым нейтральный фон для слова, не заглушая его декламацией. Да и стихи хорошие – я был, конечно, не прав, упрощая и пародируя их. С точки зрения Саши, последнее слово

в любом споре принадлежит стиху: стих не просто аргумент, а приравнен к слову Божьему. Я так, естественно, не думаю. Вообще, в диалог Саша втянут насильственно, его сознание резко антидиалогическое, любое оживление – в разговоре ли, в прессе, в стране – сбивает его с толку, лишает почвы под ногами, государственное наше единомыслие вполне отвечает монологической его индивидуальности.

Он и телом крепко сбит, слитно, из одного куска: ноги, руки, плечи, голова – как-то сосредоточены, устремлены к невидимому центру, как у Поликлета в статуях. Он и шагает, подпрыгивая, не только чтобы быть выше ростом или чтобы дотянуться до рядом идущей женщины (а любит высоких, крупнокостных, больших), но и потому, что ноги его слишком связаны с остальным телом, он ходит не ногами, а всем своим коротким и широкоплечим телом, и будь постройнее, сошел бы за мима, за паяца, а так – поэт. В последнее время мы с ним редко видимся, не решаясь на открытое столкновение, хотя – пора. Литва нас соединила на неделю, чтобы разбросать на всю жизнь.

В конце концов Саша озлился, помутилось сердце человеческое – мы выходим в ночной Вильнюс и отчужденно, молча вышагиваем его весь насквозь. Бедный Саша! Каково ему будет в гостинице, где у нас с ним двойной «супружеский» номер и кровати стоят вплотную друг к другу!

А я тем временем прокручиваю наш разговор у Томаса, мучительно припоминаю слова, которые, исчезнув навсегда из памяти, оставят такой саднящий след в наших сердцах. И в нашей судьбе – это я уже забегаю вперед, а пока что: назад, в кабинет Томаса, этого полководца без войска, к низенькому столику, на котором две пепельницы, пачка «Мальборо», ваза с виноградом и коробка шоколадных конфет.

САША. Мы – русские, а не европейцы. То есть – не только европейцы, но и русские – в первую очередь русские, а потом уже европейцы.

Я. Ну, да – русский самовар «Античная ваза» – если бы можно было украсть с выставки, я бы вам преподнес в качестве недостижимого образца. Было бы зато к чему всю жизнь стремиться. И потом, как вы определяете русскость? У вас есть такая лакмусовая бумажка, да?

САША. Есть! Любовь к Пушкину, невятная иностранцам, даже знающим наш язык, – вот верный признак русского человека. Любого другого писателя можно любить или не любить – дело вкуса. А вот Пушкин – для нас обязателен. Это стержень русской культуры, который держит все предыдущее и все последующее. Выньте стержень – все распадется...

Саша проговорил это быстро, скороговоркой, как заученное наизусть, боясь, что его перебьют, но уверенно, надеясь, что хоть эта его тирада не вызовет с моей стороны агрессии – во-первых, я сам много писал о Пушкине и даже защитил о нем диссертацию, а во-вторых, Сашины слова освящены высоким и непререкаемым авторитетом Лидии Яковлевны Гинзбург. После смерти Ахматовой – свято место пусто не бывает – Лидия Яковлевна, этот сколок формальной школы с социологической примесью, заняла место литературной примадонны в Ленинграде. В Москве она не котирировалась – там жила и писала Надежда Яковлевна Мандельштам.

Саша и Лидия Яковлевна были очень дружны – злые языки даже утверждали, что она сочиняет за него вирши. Это было, конечно, не так, но, повторяя ее слова о Пушкине, Саша не только обращался к общепризнанному в нашем городе авторитету – Саше они и в самом деле казались более убедительными, чем если бы принадлежали лично ему.

Саша ищет мира, а я ищу ссоры. Меня почему-то раздражает даже, что Саша с Пушкиным тезки и их фамилии созвучны. Или это мое сердце помутилось, а не его, и мне суждено говорить вещи, с которыми я сам не согласен?

Я. Почему любовь к Пушкину обязательна, и что это за любовь, если она обязательна? Одно из двух – либо любовь, либо обязанность.

По обязанности, как и по обязательству, любить невозможно – даже если любишь, разлюбишь быстро. И что это за бюрократическая иерархия – очень, кстати, советская, этакий вождизм в литературе?

Почему Пушкин выше Баратынского, Тютчева, Достоевского? И объясните мне, Бога ради, почему Пушкин держит все предыдущее и все последующее? Это уже теория литературного прогресса, где всё а) взаимообусловлено, б) одно проистекает из другого. А-ля Лидия Яковлевна: Сен-Симон породил Руссо, Руссо – Конрада, Конрад – Толстого, Толстой – Пруста, и каждый последующий совершенствует предыдущего. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его – и так далее: если не до бесконечности, то хотя бы до сегодняшнего дня.

САША. А вы Бродского повторяете – на таких высотах иерархии не существует. Хотя он как раз убежден, что существует, и Баратынского ставит выше Пушкина. Потому что дурак!

Это в сердцах сказано, и относится скорее ко мне, чем к Бродскому.

Спор обостряется благодаря «третьим лицам», которые отсутствуют – одна сейчас в Ленинграде, другой в Мичигане. Мы бьем подставные фигуры – и прячемся за ними от ударов.

САША. Не станете же вы отрицать взаимосвязь культурного процесса? Пушкин своим появлением закрыл одно столетие и открыл новое, девятнадцатое. Что Державин, когда Жуковский, Батюшков, даже его современники, тот же Баратынский либо Грибоедов, даже его младшие современники, как Тютчев, кажутся по сравнению с ним принадлежащими далекому прошлому, в то время как Пушкин современен нам. Он говорит на другом языке, чем они. Итог прошлого и потенция будущего, мост между нами и историей – вот что такое Пушкин. Литература – это накопление, сбор по зернышку, опыт предков, к которому добавляешь свое нечто...

Я. Ну да – сложение, как в первом классе! А для меня современный художник по отношению к культурному прошлому находится в вопросительной позе, которую определить можно с помощью умножения, деления, возведения в степень, извлечения корня, что угодно – сложение в последнюю очередь.

САША. Это и есть романтическая концепция а-ля Бродский – чистое хулиганство по отношению к культуре, хунвейбинство, насильничанье, культурная революция...

Я. А вам бы сплошной пиетизм, древнерусские молитвы и архисоветские молебны!

САША. Уже во всяком случае – не проклятия и не анафемы.

Я. Конечно, богослужение в честь прошлого, а анафемы – современникам.

Проговариваюсь, но Саша мою перчатку не поднимает – продолжается теоретический спор.

САША. А что такое, по-вашему, новаторство? Это признание своей зависимости от прошлого, и только потом, признав эту зависимость – осторожная и тактичная попытка найти свое место в этой зависимости, в этой культурной системе подчинения и иерархии. Классики требуют уважения – и каждый в отдельности, а тем более, все вместе, составляя некую идеальную упорядоченность, а стержневую функцию в ней выполняет Пушкин.

Я. Иерархия, воспринятая иератически и молитвенно – коленопреклоненно, с застывшим взглядом, как у древнеегипетского писца!

Ежели даже такая упорядоченность и существует, то не замкнуто, но открыто, и с добавлением новых ценностей – или время остановилось? – это упорядоченность коренным образом меняется, перестраивается. Поэтому, скажем, пока вы стоите на коленях перед упорядоченностью русской литературы от Державина до Мандельштама, эта упорядоченность, с появлением того же Бродского, меняет свою структуру, и вы, оказывается, возно-

сите молитвы пустому месту. Саша, у вас психология отличника, а этого, боюсь, на таких высотах недостаточно.

САША. А у вас психология романтика, Володя, – и с подобной психологией на такие высоты забираться опасно: сорветесь ненароком!

Это, конечно, уже не спор, а самая настоящая дуэль с одним секундантом на двоих – Томасом, который переводит взгляд с Саши на меня и с меня на Сашу, понимая, что он здесь лишний: идет обычная потасовка, в которую третьему лучше не вступать. Мы уже обменялись первыми ударами – я назвал Сашу отличником, а Саша меня романтиком, а романтизм, согласно бытующим среди нас представлениям – с легкой руки все той же Лидии Яковлевны, а она вслед за французскими рационалистами – смертный грех. Они и Бродского отторгли, еще при его жизни здесь, за романтическое уклонение от действительности. Вот здесь Томас и вмешивается – ему не нравится, что романтизм стал ругательным словом, причем благодаря авторитету Лидии Яковлевны выглядит это априорно – вроде бы и спорить не о чем.

Как ни странно, за литературоведческим этим термином скрывается политическая подоплека. Романтизм – это неприятие действительности такая она есть, бунт против нее. Лидия Яковлевна и Саша считают романтизм наивным, примитивным, не адекватным сложности окрестного мира и противопоставляют ему олимпийское спокойствие, *ratio*, стоицизм и главное – приятие действительности, ибо все действительное разумно, а все разумное действительно. Если бы так!

Но Лидия Яковлевна – последовательная гегельянка, а в нашей стране гегельянкой быть спокойнее, безопаснее и выгоднее, чем, скажем, шеллингианкой – избавляет от излишнего напряжения. Бродский в их представлении романтик, что в переводе на обиходный язык значит «городской сумасшедший». Это и приводило, думаю, Бродского в уныние – куда больше, чем официальное непризнание: деспотизм умных людей с его философским и как бы уже неопровержимым отрицанием. Непризнание государства в конце концов к лицу поэту, ибо цена поэта зависит от цены государства, которое его не признаёт (прямая зависимость) либо признаёт (обратная). А что стоит само государство – ни для кого не секрет: даже для нынешних его руководителей. Но как быть с сиятельным мнением Лидии Яковлевны, Саши и же с ними? Чтобы устоять, необходимы мужество или наглость. Либо гений.

Томас вступает за Бродского, с которым дружил, пока тот был здесь, и которого в отличие от Саши любит:

– О чем вы спорите? Разве в этом дело? Какая разница, в каком соотношении входит прошлое в настоящее? В любом случае – в снятом, иначе говоря, отвергнутом виде. Настоящий художник, чтобы не быть поглощенным прошлым либо раздавленным – его массой, инерцией движения, – должен, помня о прошлом, находиться по отношению к нему в бестактной, чтобы не сказать бесстыдной, позе. И никакое это не хунвейбинство и не романтизм, то есть, может быть, и хунвейбинство и романтизм, ибо мы не оговорили значение этих терминов, поэтому употреблять их значило бы злоупотреблять ими. Просто другого выхода у художника нет и не предвидится. И любой позитивизм оказывается примиренчеством и приспособленчеством, пока существует агрессия мизософии и мизологии против культуры. Позитивизм был бы возможен, только если бы этой угрозы не существовало, но тогда, если бы угрозы культуре не существовало, и сама культура была бы невозможна. Здесь я с вами согласен, Саша, – сопротивление возбуждает, необходимы и угрозы, и преграды...

Я. Ну да – теория зайца: если бы не было волка, заяц бы помер от ожирения сердца. Волчья теория – высшее интеллектуальное проявление волчьей стаи. Тогда признаем лучшим обиталищем художника тюремную камеру. Вот где раздолье для творчества: твори, выдумывай, пробуй!

САША. А вы помните, что Эсхил сказал? «Божий дар остается и в рабской душе».

ТОМАС. У нас немыслимый, скачущий какой-то ритм беседы – будто за нами кто гонится! Это вы, Володя, виноваты – мы с Сашей скорее академисты. Я не на вас жалуюсь, а на себя – вам. Мы, литовцы, к диалогам и вовсе не привыкли, нам надо, чтобы нас никто не перебивал, чтобы мы могли спокойно, не торопясь, развернуть всю систему доказательств. В нашем разговоре какой-то сбив, потому что, скажем, до тюремной камеры я бы сам дошел, если бы не перебили. Культура может погибнуть и в случае нападения извне и в случае полноты, априорной, гарантированной обеспеченности ее существования. Иначе говоря, отсутствие надежды и отсутствие угрозы одинаково для культуры губительно. Но отсутствие угрозы – это идеальное, гипотетическое состояние, мы его выносим за скобки, ибо угроза была, есть и будет, и именно угроза вызывает культуру к жизни. А вот надежда – другое дело: она может исчезнуть и положение может тогда показаться – и оказаться на самом деле – безнадежным. Так не однажды случалось.

САША. Но культура-то все равно жива!

Я. Это уже другая культура – не та, которая была прежде. Так, под натиском микенцев погибла утонченная культура Крита, а микенская – под ударами дорийцев, дорийская – ахейцев, то есть греков, греческая – римлян, римская – варваров и так далее – вплоть до наших дней.

САША. Вы дробите, дифференцируете то, что выглядит едино, слитно: античная культура.

Я. Это ежели знать о ней понаслышке и относиться к ней меркантильно, цитатно.

ТОМАС. Саша, не станете же вы отрицать, что древнерусская культура исчезла к концу XVII века, а русская – в семнадцатом году?

Это факт, куда от него денешься? Другое дело, что после революции в России возникла новая культура, а точнее еще до революции, календарная хронология не совпадает с исторической – Бунин пережил Мандельштама, но Бунин принадлежал XIX веку, а Мандельштам – XX. Саша, вы правы: Мандельштам, быть может, самый советский поэт, пусть со знаком минус, это все равно...

Я. Это как раз и не все равно, потому что Саша требует знака плюс во что бы то ни стало, то есть полного и безоговорочного приятия эпохи и соответственно – подчинения ей.

САША. Да, человек – не только художник – есть производное времени и производное культуры, а вы хотите изъять его из обеих систем и поместить на необитаемый остров, откуда бы он метал громы и молнии в сторону отринутой им цивилизации. Художник не может быть, как все, но современный художник должен по мере сил к этому стремиться, чем он, кстати, и отличается от романтика прошлого века.

Здесь у нас общая судьба, уйти от нее – уйти от Божьего предначертания, согласно которому мы и оказались в этой проклятой стране – думаете, я не знаю, что проклятая? Знаю. Но бежать не считаю возможным, а вы именно о бегстве говорите – я остаюсь здесь, со всеми, со своей культурой и со своим народом, если хотите.

Я. Да разве о бегстве речь – что вы передергиваете? Психология общей могилы, коллективного захоронения, стадный инстинкт первобытного племени, возведенный в идейный принцип, – вот что вы отстаиваете. Мы окружены легендами и преданиями: патриотизм, ностальгия, родина!

САША. Россия – это не легенда, увы, а самая что ни на есть реальность. Как говорил когда-то Вячеслав Иванов – *a realibus ad realiora*. То есть Россия – это такая реальность, которая все другие реальности собой перекроет – с головой! В том числе – весь ваш Запад. И поймите же вы наконец, что Запад для русских сгущеннее, идеальнее конкретного, отсюда недовольства и ламентации наших эмигрантов, ибо воображаемый образ, взлелеянный и хрупкий, не совпал с действительностью. А настоящие русские западники были преданы России ничуть не меньше славянофилов, но это была сложная связь – вспомните Чаадаева.

Вы что, думаете, он не знал, что Россия – отрезанный от истории ломоть, и это трагическое отлучение, потому что всемирная история, по крайней мере европейская, то есть христианская, – это школа для народов, которой руководит сам Бог. Да, вспомните, что писал Мандельштам про Чаадаева! Там, где про Бориса Годунова, который, предшествуя Петру, отправил молодых людей за границу – и ни один не вернулся, ибо нет пути от бытия к небытию. Как не вернулся голубь обратно в ковчег! А Чаадаев был первым русским, который идейно побывал на Западе и нашел дорогу обратно, и современники это чувствовали и высоко ценили, что Чаадаев вернулся к ним. Это ваш Мандельштам, а вот моя Ахматова:

Когда в тоске самоубийства

.....

Саша читает торжественно и глухо – блестяще читает. Стихо творение это я не люблю – нельзя собственную железную волю посту лировать своим современникам. У кого еще были такие нервы, как у Ахматовой? У психопата Зощенко? У безумца Мандельштама? У измученного Булгакова? Она – единственная – выдержала, выжила, выдюжила, но зачем называть недостойной речью совет добро желателя?

Послушайся такого совета Мандельштам – не погиб бы. А он мечтал о советчике – в том самом Воронеже, который не пускал его, не отдавал – «Пусти меня, отдай меня, Воронеж, – уронишь ты меня иль проворонишь, ты выронишь меня или вернешь – Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож!» Хотя какой там советчик в цепком городе замков и скрепок, углов и угланов, мертвого воздуха и разлетающихся грачей:

А я за ними ахаю, стуча
В какой-то мерзлый, деревянный короб:
Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей – разговора б!

Это я все молча, про себя, а вечер поэзии у нас в самом разгаре. Очередь Томаса – он отвечает Саше стихами Бродского:

Прости... мне это все не по уму.
Спи... если вправду говорить о взгляде,
Тут задержаться не на чем ему.
Тут все преграда. Только на преграде.

Я. А мы так к преградам привыкли, что жить без них уже не можем – задыхаемся от их отсутствия. Угроза культуре – именно русской – сейчас смертельная, и хвала романтику Бродскому, что он собственной шкурой эту угрозу ощутил. Что такое его поэзия? Это выпрямление под чудовищным столбом давления, это принятие на свои плечи многотонного пресса государства. Стихи – необходимость: не писал бы – раздавили бы, мокрого бы места не оста лось.

Он принял вызов тех, кто оспаривал право культуры, а значит, и его, Бродского, на существование. Стихи для него – вопрос жизни и смерти, он ведет бой на головокружительной высоте, где оступиться значит погибнуть. И бой этот не только за культуру, но и за человека, суверенитет которого именно культура конституирует, и одновременно – вот парадокс! – прерогативу человека над собой, то есть над культурой.

Саша – яростный враг открытой полемики вовсе не потому, что лишен, как я, разговорных талантов, но потому, что предпочитает, чтобы его слушали либо сам – слушать. Он –

хороший слушатель. Где-то за сценой, далеко-далеко, в Ленинграде и Мичигане, сами того не ведая, незримые участники нашего спора – Сашин суфлер и мой искуситель.

САША. Вы так говорите (это к нам с Томасом и к тому третьему, который *cum tacent, clamant*, то есть говорит своим молчанием), как будто вы хозяева положения, как будто, что вы хотите, то и будет, и так будет, как вы захотите. Как будто в вашей власти крутануть колесо истории. И ваш Бродский был волюнтаристом – в жизни и в стихах.

Потому и не удержался здесь. А мы – здесь, и потому извольте свои высказывания сверять с действительностью. Вы ее отрицаете, а она вас не замечает. История неизбежна. Помните Бестужева-Марлинского – «Мы обвенчались с ней волей и неволею, и нет развода».

Я. А кто в этом мезальянсе муж и кто жена? Кто кого убоится? Повашему, это само собой разумеется? Саша, вы фаталист, а я – нет. Этому скотскому, покорному детерминизму я предпочту романтическое сознание, хотя и признаю за ним наивность и инфантилизм, но не приспособленчество, не раболепие перед историей.

САША. А что можно сделать с Историей? Вот она прет на нас, еще мгновение – и мы ею раздавлены. Куда здесь денешься? Разве наши танки в Праге по приказу Брежнева? Брежнев – слепое орудие чужой воли. Вы забыли о главном распорядителе – о Боге. От Него доброе и злое, Он един в своих поступках, а мы судим Его снизу – Его, Бессмертного – с нашей – не смертельной, а смертной, временной, суетливой точки зрения. Что Иов сказал жене, то и я вам скажу: вы говорите, Володя, как один из безумных – неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?

Я. Бог, Бог – затвердили как скороговорку! А что Бог? В человеке он снимает с себя ответственность и возлагает на плечи *homo sapiens*.

Бог дал человеку волю, свободу выбора, смерть, а вы через Бога хотите оправдать всю мерзость человеческую. И извините, Бог в Политбюро не входит и делать его ответственным за военно-политическую акцию по меньшей мере недобросовестно. И так ли уж эта акция была неизбежна? Случайность, возведенная нами постфактум в ранг закономерности. Мы приспособились к нашей мрачной истории, и превентивное – от животного страха перед свободой – нападение на Чехословакию оправдываем как историческую необходимость. Стыдно.

Саша уже не спорит: не знаю, у кого из нас больше аргументов, страсти – у меня. Мы идем по ночному Вильнюсу, где сегодня днем нам подали в «Неринге» разноцветный коктейль, и Томас объяснил, что это персонифицированный в алкоголе флаг независимой Литвы, по Вильнюсу, в который я приеду спустя год, один, без Саши, тоже осенью, и меня поселят в одном номере с Давидом Самойловым, о котором Слуцкий мне говорил:

– Зачем нам ваш Скушнер, когда у нас уже есть Самойлов.

И я заново прокручу тот наш разговор у Томаса, что-то вспомню, а что-то выдумаю, и Вильнюс поможет забывчивой Мнемозине. А пока мы молча идем с Сашей по ночному Вильнюсу, и только у самой гостиницы Саша вдруг вдохновенно заговорит о русском языке – что это связь, неизбежность и у нас, писателей, нет выбора.

Не помню, что именно он говорил, поэтому отошлю читателя к Тургеневу.

Или к Мандельштаму, который писал, что язык в России – единственное, что есть в ней независимого от государства, и самое страшное – это отпадение от языка: онемение нескольких поколений может привести Россию к смерти, ибо отлучение от языка равносильно отлучению от истории.

Вряд ли Саша говорил лучше Мандельштама и Тургенева.

Я всегда исповедовал – и проповедовал – что-то схожее, это наша общая с Сашей платформа лингвопатриотизма, и Саша, зная это, чтобы замириться со мной, сейчас, на ночь глядя, сказал мне это, надеясь, что здесь-то уж я спорить не стану.

А я – стал.

– Язык – родина? язык – связь? панацея, надежда, утешение в слезах? А что мне позволено на нем говорить? С чем он меня связывает – с бесправием, с рабством, с раболепием? Язык – не связь, но узы, оковы, кандалы. Я ненавижу этот язык – если что-нибудь на нем можно произнести, то только украдкой, втихую, шепотом, когда не слышен собственный голос. Либо – мат: последнее наше прибежище и убежище. Хотя скоро и этого будет нельзя, ничего нельзя – язык стал моделью нашего сознания и нашего общежития. Если мы лжем ежедневно, то и он весь изолгался. Если мы ходим на деловые свидания в КГБ, то и он вместе с нами. Как и мы, он застыл в немом величии, скрывая под ним малодушие и безволие. Он стал ханжой и трусом, как и все мы. Он хлебнул нашей общей несвободы и перестал быть свободным. Это и есть отпадение от языка, отлучение от истории, онемение, атрофия, смерть.

И тогда вы, перейдя вдруг на шепот, сказали мне, что коли так, то я долго не выдержу и скоро отсюда уеду.

Сказали – и сами же испугались. Словно бы и не вы сказали, а кто-то через вас, а вы подслушали. И я испугался, потому что это прозвучало с непреложностью уголовной улики и с неумолимостью древнего оракула.

И долго во мне не умолкало – не давало ни спать, ни думать, ни работать...

Я до сих пор еще здесь – я пишу эти строки летом 1975 года, в Советском Союзе, в деревне Подмогилье Островского района Псковской области.

Я – это Владимир Исаакович Соловьев, 1942 года рождения, еврей, член Союза писателей и Всероссийского театрального общества, женат, имею одного ребенка – Жеку, которого очень люблю.

Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ

*Так вот она – настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!*

Мандельштам

Все злые случаи на мя вооружились!..
Сумароков

Иногда нужно иметь противу себя озлобленных.
Гоголь

Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей.
Достоевский

Все казалось мне, что в Петербурге я, наконец, погибну.
Он же

*Всюду ему было тесно, и, обладая безграничной личной свободой,
он все же чувствовал себя угнетенным. Мир казался ему тюрьмой...*
Не помню кто

*Я покидаю город, как Тезей —
свой лабиринт, оставив Минотавра*

*смердеть...
... чтоб больше никогда не возвращаться.
Ведь если может человек вернуться
на место преступления, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.*

ИБ. К Ликомеду на Скирос

Побег мой произвел в семье моей тревогу...
Пушкин

*...есть случаи (довольно редкие, правда), когда неподвижная
жизнь задерживает ход дней, и перемена мест становится лучшим
средством, чтобы наверстать время.*
Пруст

*Гнусный омут, в котором он завяз сам своей волей, слишком
тяготил его, и он, как и очень многие в таких случаях, всего более
верил в перемену места: только бы не эти люди, только бы не эти
обстоятельства, только бы улететь из этого проклятого места и –
все возродится, пойдет по-новому!*
Вот во что он верил и по чем томился.
Достоевский

Перемена места – значит перемена всего!
Он же

*И я благодарю свое рождение за то, что я лишь случайный гость
Замоскворечья и в нем не проведу лучших лет. Нигде и никогда я не
чувствовал с такой силой арбузную пустоту России...*
Мандельштам

*Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, —
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я – живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел
Я отделил от собственного тела.*

Заболоцкий. Метаморфозы

Человек течет, и в нем есть все возможности...
Толстой

*Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни точно
новорожденные, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы нам
ни было лет.*
Ларошфуко

Как знать, быть может, смерть, и гроб, и тленье
—

*Лишь новая ступень к иной отчизне.
Не может кончиться работа жизни...
Так в путь – и все отдай за обновление!*

Герман Гессе. Игра в бисер

Non sum qualis eram.
Гораций

*А когда с течением времени ты начнешь замечать, что имя
твое начинает обращаться среди людей, не придавай этому большего
значения, нежели всему, что исходит из уст их. Скажи себе: оно стало
непригодным, и сбрось его. Прими другое, все равно какое, лишь бы
Господь в ночи мог позвать тебя. И скрой его от всех.*
Рильке

*Зане свободен раб, преодолевший страх...
Мандельштам
Я получил мою свободу со вздохом.*

Байрон

Мир меня ловил и не поймал.
Эпитафия на могиле философа Сковороды

Мир существует, чтобы войти в книгу.
Малларме

.....
.....
.....
.....
.....⁴

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ

Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая

*Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все
вокруг меня со мною прощается.*
Тургенев

*Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце
наше исполнится искренним состраданием.*
Пушкин

⁴ Смиренно сознаюсь, что шесть строчек отточий – не композиционное подражание «пропущенным строфам» Байрона, Пушкина и Ахматовой, но сугубо личное мероприятие, вынужденное эпиграфическим жанром романа. Сюжет, вытекающий из 22 эпиграфов, столь очевиден, что было бы сущим безумием и непомерным расточительством присовокуплять к ним авторские разъяснения. А может быть, вообще стоило ограничиться цитатами и романа не заводить?

— ...я не судья тебе встал говорить, а сам как последний из подсудимых.

Достоевский

Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него.

Осип Мандельштам

*Мой бедный шут, средь собственного горя
Мне также краем сердца жаль тебя.*

Шекспир

Он пел, уменьшаясь в значеньи и теле

.....
*Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди.*

ИБ. Сретенье

Мне захотелось услышать собственный голос, и вот результат – роман, который с Божьей помощью я сейчас дописываю. Я знаю, что он появится во всех отношениях преждевременно, но обратно затолкнуть его в чернильницу я уже не сумею, увы...

Я пишу этот роман шепотом, потому что еще не пора, потому что каждый мой шаг на записке и эхом отдается в стенах КГБ, потому что я боюсь громко говорить даже в собственной квартире.

Я пишу этот роман шепотом, но в полный голос, во весь голос, а громче я не могу – сорву связки.

О чем я больше всего сейчас жалею, так это о том, что уничтожил те двенадцать страничек про бывшего моего друга Сашу Кушнера: мне не хватает их сейчас для равновесия.

Не слишком ли много грехов навесил я на Сашу, не слишком ли велика отрицательная на него нагрузка?

Или наоборот – слишком аргументировал его позицию, приписал заветные свои мысли – ему такие и не снились?

Что такое Саша?

Это мое alter ego, мой двойник, от которого я отмежевываюсь и которого стыжусь. Это самоампутация alter ego, и, анестезируя тяжелейшую эту операцию, в первом наброске «Романа с эпиграфами» я обозначил своего двойника реальным именем, но чужой фамилией, девичьей фамилией моей матери – Саша Рабинович.

Но ведь был же и реальный Саша – он живет в Ленинграде, пишет стихи и ненавидит Бродского. В конце концов, я решил отбросить камуфляж – коли роман без вранья, то незачем перекидывать имена. Так Саша Рабинович опять стал Александром Кушнером.

Его идеал – гроссмейстер Анатолий Карпов, который присвоил чемпионскую корону с помощью советского правительства, а не выиграл ее в честном поединке с Робертом Фишером. Саша хочет победы без поражения и даже без поединка: регалии ему важнее реальности.

Саша надеется на километры, которые в России не только заменяют пространство, но и отменяют его, ежели оно находится за пределами государственных границ СССР.

Сейчас Саша принимает все меры предосторожности, чтобы оградить себя от моей критики – сидит в танке и боится, что ему на голову свалится яблоко.

У Саши локальная психология, железный уговор с самим собой – не замечать того, что могло бы его задеть, встревожить, расстроить. Если бы он выглянул из своего танка, то понял бы, что по горло в говне.

Я ему протянул однажды веревку, а он стал размахивать руками и брызгаться:

– Я здесь живу, это моя родина, я ее люблю...

И – на здоровье: вольному воля. Отойду подальше, а то забрызгает.

Или – пригласит в гости.

А может быть, виноват я, потребовав от маленького поэта, чтобы он стал большим, а потом разругав его за то, что ноша оказалась ему не по плечу? Или дело все-таки в его претензиях – быть большим, будучи маленьким? Я написал о маленьком его росте, а сам выше его разве что на несколько сантиметров. Дело не в физическом росте, но в поэтическом лилипутстве: можно быть маленьким поэтом, но зачем подпрыгивать, зачем притворяться большим? Сейчас вышла Сашина книжка в Детгизе, и все стало на свои места: он – детский поэт, популяризатор, ментор, и только недостатком образования и инфантильным сознанием наших читателей можно объяснить растущую его популярность.

Я написал о его стихах, об истощенности в нем поэзии, а в нем истощена жизнь, и я гляжу в его пустые, как у трупа, глаза, и жалость застилает мне душу – он был живым, теперь он мертв: еще одно «увы»...

Нам заткнули рот кляпом еще в утробе матери, мы родились не в рубашке, а с кляпом во рту, с фиговыми листками на гениталиях и с черной повязкой на глазах.

Мы родились с постыдным страхом в душе, и мы выдавливаем его из себя по капле – капля за каплей, чтобы не осталось ни капли.

Моя душа станет вот-вот совсем пустой – а вдруг, кроме страха, в ней больше ничего не было?

Один из начальных читателей этого романа сказал, что в нем мало Соловьева, мало автора. Так, должно быть, и есть и иначе быть не может. Осип Мандельштам, отвечая на анкету «Советский писатель и Октябрь», с полной откровенностью заявил: «Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня „биографию“, ощущение личной значимости». А в статье «Конец романа» он попытался обосновать свой мрачный тезис именно распылением личности и биографии как формы личного существования, даже больше чем распыление – катастрофической гибелью биографии: «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров на бильярдном поле, управляет один принцип: угол падения равен углу отражения».

Может быть, напрасно Осип Мандельштам отечественную деперсонализацию распространяет географически и политически – на Запад?

Либо дело здесь в цензурных соображениях: объяснить XX веком то, что сделала со всеми нами Октябрьская революция на пару с многовековой русской историей? Бог его знает...

Но вот слова Мандельштама, под которыми я готов подписаться как под своими:

Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое.

Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого...

Надо мной и над многими современниками тяготеет косноязычие рождения. Мы учились не говорить, а лепетать – и, лишь прислушиваясь к нарастающему шуму века и выбеленные пеной его гребня, мы обрели язык.

И все-таки – вот парадокс! – мне хочется думать сейчас иначе.

Я завидую Лене Клепиковой, биография которой, а значит – и личность, куда более свободна, чем моя, от «шума времени». Я – «политическое животное», то есть подневольное, крепостное, зависимое, и сокровенная моя мечта – сбросить с себя эту зависимость: и чем скорей, тем лучше!

Любой ценой, чего бы это мне ни стоило!

Я потому и полюбил Лену – и с каждым годом люблю ее все сильнее, – что она так не похожа на меня и на наше время: ее окраска – личная, индивидуальная, а не тотальная. А мой портрет писало Время – дурной живописец, и все его портреты на одно лицо.

Мне хочется поскорее кончить это роман, потому что его предмет снижает уровень разговора.

Пора думать о звездах, а я пишу о Саше и о КГБ.

Я пишу этот роман как открытое письмо Бродскому, но я боюсь, что он прочтет его второпях, ни хрена не поймет и опровергнет не только мои домыслы, но и мои догадки.

Бродский – гениальный поэт, но, боюсь, посредственный читатель.

Гениальный читатель – Кушнер.

Поэт – посредственный.

А что, если этот каллиграф, канцелярист, переводчик переводчиков и учитель чистописания обрадуется моему роману как неожиданной своей славе – в конце концов мои ему обвинения здесь за чтутся в качестве заслуг, ибо в нашем Зазеркалье все шиворот-навыворот?

Или, окажись я в тюрьме или за границей, то есть вне досягаемости, но одновременно в некоторой известности, не припишет ли тогда Саша меня к себе, как приписывает мертвецов типа Берковского и Ахматовой или эмигрантов вроде Бродского, пользуясь практической их неспособностью опровергнуть ложь или хотя бы докричаться досюда? В этом отношении мертвецы, арестанты и эмигранты и в самом деле находятся в схожем положении, и Сашин расчет – безошибочный.

А расчет прост: заменить действительную реальность сочиненной.

Борьба с реальностью не на жизнь, а на смерть. И здесь они едины – Саша и КГБ: они создают мифы о нашей жизни и требуют безусловной в них веры.

Я пишу постыдную книгу о постыдной моей жизни и все пытаюсь понять, что я умалчиваю, а что выпячиваю, преувеличиваю, потому что болезнь памяти – это болезнь совести, мы пытаемся избежать двух этих мощных прожекторов, пригибаемся, прячемся, корчимся, пробираемся ползком, кривим душой и боимся света – как прежде боялись тьмы.

Уколы и укоры совести я принимаю за тайные знаки судьбы – кто именно продиктовал этот роман: память или забвение, желание правды или страх перед правдой?

Или страх – это единственное, что делает нас похожими на людей?

Мозги у нас набекрень – мы привыкаем к тому, к чему привыкать грех. Я жаловался Юнне Мориц на то, что меня таскали в КГБ – она меня успокоила:

– Всех таскают – не тебя одного: всех без исключения. Ты что – хочешь быть исключением?

Я хотел быть исключением, и мне это не удалось.

Я слышал прекрасные рассказы о безошибочных – по расчету либо по инстинкту – ходах частного человека в борьбе с всесильной организацией.

Признаться, я не очень в эти рассказы верю: такое даже ощущение, что рассказчики своими рассказами берут реванш за свои визиты в КГБ.

Во всяком случае в моей практике ничего подобного не было.

Если было бы, то не было бы романа.

Не в том смысле, что не о чем, а – незачем!

Этот роман – даже не месть, а скорее возмещение за униженность, бесправие и страх.

Для равновесия – то, что не договорил: друзьям, врагам, читателям.

В том числе – кагэбэшникам...

Я ни на кого не доносил, но я протягивал руку стукачу, я разговаривал с гэбистами, и сейчас мне нестерпимо стыдно.

И больше всего мне стыдно за ложь: я говорил не то, что думаю – не только им, но и после них – в компаниях, в редакциях, где угодно – боясь стукачей или боясь двусмысленностей?

Я имел подневольные отношения с людьми, с которыми нельзя иметь даже подневольные отношения...

Я рискну сказать так: лучше сидеть в тюрьме, чем разгуливать на свободе, которая окажется на поверку мнимой. Преимущество нашей «воли» перед тюрьмой мизерное, поводок длиннее, но ненамного, зато сколько иллюзий, фикций, лжи и дерьма – неспорно! Или уж тогда надо выбирать другую крайность – путь доносов, предательства и провокаций.

Золотой середины, на которую все так надеются, у нас нету и быть не может.

Этот роман я написал на одном дыхании – «враждебным словом отрицанья»: я боюсь, что теперь я впадаю в «противоположное общее место», как говаривал Тургенев.

Хотя нет – не боюсь!

Противоположное общее место все-таки лучше, чем то, которое заставляют нас исповедовать в этой стране.

Полюса здесь неизбежны, а золотая середина невозможна, ибо сказывается в конце концов фикцией – не золотой, а говенной, не серединой, но полюсом: северным полюсом, студеным, бессолнечным, безжизненным.

О чем разговор – страна киммерийцев!..

Страна, где не дай Бог оказаться в меньшинстве: прибьют, либо склонишься к большинству и сам того не заметишь.

Человеку не дано взглянуть на себя со стороны – иначе его глаза бы повылезли из орбит.

Жизнь наша вечереет, и стигийские тени бродят меж нами, а мы все еще в самом начале книги жизни – как мы запоздали, сначала соглашаясь жить в дерьме, а теперь счищая его с себя...

Ося и Саша – не только идеальные образы, не только персонификация двух полюсов душевной и реальной моей жизни, но и реальные люди, и жаль, если это не будет прочитано.

Бродский догнал свою славу, которая началась задолго до того, как он стал писать гениальные стихи. Неужели и со мной КГБ поступит аналогичным образом, и, выйдя на свободу, я должен буду написать первую часть моей «Божественной комедии»?

Боюсь только, что дальше дело не двинется – рай на этой земле мне уже не отыскать.

Да и неинтересно.

У Саши была тревога, что жизнь истончилась, пора начинать новую, был голос, да только он ему не внял – решил, что мистификация, мистика, бред, если не блеф. Новой жизни не начал, а та и в самом деле сошла на нет.

Так всегда бывает – когда жизнь полностью обесценена, начинаешь ее особенно ценить и лелеять. У Саши культ своей жизни, любое ее проявление – от стиха до пука – кажется ему святой и чистой эманацией его личности.

Я его осуждаю не за то, что он спотыкается и блуждает впотьмах – а кто из нас не блуждает? – даже не за то, что предает себя и других, но за то, что ухабы выдает за укатанное шоссе, за то, что свои ошибки постулирует всем в качестве *modus vivendi*, достойного подражания и даже обязательного для подражания: так и никак иначе.

Я так – и вы так!

Стал агрессивен, монологичен и нетерпим... Подвел философскую базу под элементарное свое малодушие.

...Бродский – особый случай. Он движим своим гением – может быть, нет его заслуг в его судьбе: помимо него. В человеке Бог снимает с себя ответственность, но не в гении. Ося был ведом Вожатым и послушен Ему.

Кьеркегор считал гения, по существу, бессознательным: он не представляет доводов и не нуждается в доказательствах – напротив: доказательствами, до которых люди горазды и жадны куда больше, чем до истины, гений умалется.

Ибо великая судьба – это великое рабство.

Гений – это умение слушать Бога.

Другое дело, что с гением Бог говорит громче, чем с остальными смертными. Необходимо было, однако, мужество, чтобы Его слушаться – как часто Его распоряжения вступали в противоречие с отечественными законами и обычаями.

Но есть же Бог, и человек не беззащитен на белом свете!

В Комарово мы уже никогда не окажемся вместе – разве можно восстановить то, что превратилось в прах? Из этого праха я восстановил свой роман перпендикуляром к небу: Вавилонской башней либо Пизанской, либо попросту х*ем: ассоциации любые, на выбор.

Я и в самом деле смотрел в тот свой последний наезд в Комарово на своих приятелей прощально, отрешенно, как будто кого-то из нас уже нет в этой жизни, он гость случайный, посторонний и незримый.

«Время проходит? Время стоит. Проходите вы!»

Саша рассказывал об Осе – беззащитном, тоскующем по родине и никому не нужном в Америке. При этом он ссылался на какое-то письмо оттуда, которое безусловно подтверждало Сашину здешнюю правоту.

Мне было его глубоко и бесконечно жаль: не Осю, а Сашу.

Я написал роман о том, как из тихого еврейского мальчика сделали советского поэта.

Я мог бы написать роман о том, как искалечили и изуродовали тихого еврейского мальчика, как он, проснувшись однажды утром и заглянув в зеркало, не узнал самого себя и заплакал.

Второй вариант был бы куда занятнее, но, увы, второго варианта не было, а был первый.

Мы вышли из прокуренной комнаты на таинственно мерцающую комаровскую дорогу и в староновогодную ночь соорудили под зимними звездами снежную бабу и стали играть в снежки, и Саша все норовил в меня попасть.

Мне и в самом деле краем сердца жалко Сашу, но только краем сердца.

Мне жалко моего героя – Сашу, но не его прототипа, который облучился советской славой и стал литературным импотентом.

Как не жалко самого себя, потому что я – тоже прототип Саши...

А жалеть самого себя – это никогда с собою не расстаться, быть своим собственным рабом: отныне и во веки веков!

Я пытаюсь убежать сходства со своим героем – какая там жалость!

Пусть пожалеют читатели – этого права я у них не отнимаю.

А Саша себя жалеть не дает: иногда он мне и в самом деле кажется более несчастным, чем виновным, но только его пожалеешь, как узнаешь об очередном его подвиге на ниве отечественной словесности.

О, это суконно-полицейское небо с погонами КГБ на дисциплинированных облаках! О, этот город-цитата, чудовищная помесь классического русского стиха с казенным стилем доносов!

А его табакерочные пригороды!..

Мы играли в снежки в Комарово, была ночь, и было не весело, а тревожно.

А потом появилась вдали фантастическая эта женщина в черном плаще, обвитая шарфом, и мы замерли, пораженные, и следили за ней, не отрываясь, пока она не свернула в боковую аллею.

И один из нас побежал за ней и больше не вернулся.

В сторону Иосифа. Постскриптумы к «Трем евреям»

Александр Кушнер & Иосиф Бродский

Посвящается Владимиру Соловьеву и Елене Клепиковой

Из многих стихотворений, не просто посвященных Владимиру Соловьеву и Елене Клепиковой, но тех, где они главные фигуранты, здесь напечатаны только три – и то исключительно в реставрационных целях: воспроизвести, пусть и в ироническом ключе, те отношения, которые нас тогда связывали, и атмосферу, в которой мы жили. Пояснения см. выше – в главе «Три поэта».

Александр Кушнер. К портрету В. И. С
Кто хуже всех? Позор природы?
Насмешка неба над землей?
Кто возмущает все народы
Своею правою рукой?⁵
Кто волк, а кажется: ягненок?
Кто любит финок, как ребенок?
Кто, не стесняясь ни хрена,
Содрал прическу с Бенуа?
Кто надоед жену Елене,
Внушает жалость сыну Жене,
Не ставит мать свою ни в грош?
Кто на Монтеня не похож?
Кого безумная столица своим пророком нарекла?
Кто Наровчатовым гордится?
Плюет на честь из-за угла?
Кто Вознесенского гонитель?
Кто демон? Кто душемутитель?
Кто о великом Евтушенке
Нам слово новое сказал?
С его стихов сухие пенки
Кто (неразборчивый) слизал?
Кому должно быть очень стыдно?
«Кто, кто так держит мир в узде?»
Кому лихую рифму видно
И в этой строчке, и везде?⁶
Кто носит сызмала в кармане
Один сомнительный предмет?
Кто забывает Кушнер Тане
(Моей жене) послать привет?
Кто перед всем крещеным миром,
Попав в писательский союз,

⁵ Намек на художественное творчество В. И. С.

⁶ Похабщина.

Публично назван дебоширом?
Кто демократку, как картуз,
Нахально носит на макушке?
Кто в диссертации своей
Нам доказать хотел, что Пушкин —
Шеллингианец? Кто злодей?
Кого ночами совесть мучит?
Кто, аки тать, во тьме ночной
По дому ходит и канючит
И просит Бога: боже мой!
Кто оскотил кота Вильяма?
(Чем не шекспировская драма!)
Кто написать про Аксельрода
Не соберется потому,
Что для российского народа
Еврейский гений ни к чему?
.....⁷
Спроси у сирот и у вдов —

И вопль раздастся: Соловьев!

Иосиф Бродский. Лене Клепиковой и Вове Соловьеву
I.

Позвольте, Клепикова Лена,
Пред Вами преклонить колена.
Позвольте преклонить их снова
Пред Вами, Соловьев и Вова.
Моя хмельная голова
вам хочет ртом сказать слова.

II.

Февраль довольно скверный месяц.
Жестокость у него в лице.
Но тем приятнее заметить: вы родились в его конце.
За это на февраль мы, в общем,
глядим с приятностью, не ропщем.

III.

На свет явившись с интервалом в пять дней,
Венеру веселя, тот интервал под покрывалом
вы сократили до нуля.
Покуда дети о глаголе,
вы думали о браке в школе.

IV.

Куда те дни девались ныне
никто не ведает – тире —

⁷ Сборно-раздвижная конструкция позволяет продолжить перечисление фактов по мере накопления.

у вас самих их нет в помине и у друзей в календаре.
Все, что для Лены и Володи
приятно – не вредит природе.

V.

Они, конечно, нас моложе
и даже, может быть, глупей.
А вообще они похожи
на двух смысленных голубей,
что Ястреба позвали в гости,
и Ястреб позабыл о злости.

VI.

К телам жестокое и душам,
но благосклонное к словам,
да будет Время главным кушем,
достанется который вам.
И пусть текут Господни лета
под наше «многая вам лета!!!»

Александр Кушнер. Послание в Лиепаю. Другам Володе и Лене
от Саши и Тани

Зачем из всех земных пустынь
Район был выбран Лиепайский?
В названьи хутора Кун-динь
Мне звук мерещится китайский.

И очень грустно оттого,
Что к вам, поклонникам Эллады,
Приходят письма на п/о
Под жалкой вывеской «Бернаты».

Среди латвийского жилья
Лелея вредные привычки,
Мои бернатые друзья,
Друг к другу льнете вы, птички.

Из-под сознания глубин
Пока дрожит под лапкой ветка,
Одной из птичек снится финн,
Другой из птичек снится шведка.

А речь латышская вокруг
Звучит, меж тем как на свободе.
Теперь один наш общий друг
Живет и платит дань природе.

Он англичанке ручку жмет,

Он мексиканочку голубит,
Захочет – девочку возьмет,
Захочет – мальчика полюбит.

Но мне, проведенному в Крыму
Дней двадцать рядом с Евтушенкой,
Мне нынче бабы ни к чему:
Я им даю под зад коленкой.

Вниманьем гения согрет,
Его в натуре наблюдая,
Я понял: правды в мире нет!
Но есть покой и Лиепая,

Где Лена с Вовиком живут,
Едят капусту, как Гораций,
Не пашут, гордые, не жнут:
Какой соблазн для малых наций!

Ловите бабочек в тиши
И прячьте голову, как цапля,
Пока вас терпят латыши,
Пока молчат топор и грабля.

Но знайте: судный день грядет,
Латыш-хозяин глянет хмуро,
Без вас Аврора отомрет,
Без вас падет аспирантура⁸.

Эх вы, учились бы у нас:
У Тани, у меня, у Жени!
Мы любим Русь, мы любим квас,
Мы поваляться любим в сене.

В какое лето мы живем!
Каким событиям внимаем!
Фиделю Кастру руку жмем,
В гостях сирийцев принимаем!

И сами ездим в Люксембург!
Коммюнике – какое слово!
..... хирург
..... корова.⁹

Как хорошо в краю родном,
Где вьется речка луговая

⁸ Вариант: литература.

⁹ Эти пропуски – какая пища для ума будущего исследователя!

У нас почти что под окном,
Пахабной рифмы избегая.

Забыты Рим и Монпарнас
И пирожковая на Невском.
И Соловьев нам не указ,
Мы правду чуем в Палиевском.

14. VII.72.

Анна, Иосиф & сэр Исая Гипотетическое исследование

Не сотвори себе кумира

Не помню точно, когда именно, да это и не важно в контексте этой истории, я впервые увидел Ахматову. Думаю, где-то в начале августа 1961 года. Случилось это на ее литфондовой даче в Комарово, куда меня затащила моя сокурсница по теоретическому факультету Академии художеств. Мне было 19, Ахматовой – за 70. Моя сокурсница была тезкой Ахматовой и внешне немного похожа на нее в молодости, особенно челкой, хотя и не была ей кровной родней: внучка Николая Николаевича Пунина, последнего мужа Ахматовой. Жили они вместе, и Аня даже сопровождала Ахматову в Оксфорд, где та получила почетную степень – как она считала, с отмашки сэра Исая, то ли ее друга, то ли любовника, скорее всего друга-любовника, а по словам Анны Андреевны, «гостя из будущего». Дома мою институтскую подружку звали Младшая Акума, чтобы не путать с «Акумой» Ахматовой.

Помню, как на лекции по истории КПСС Аня ударилась в слезы и выбежала из аудитории, когда речь зашла о ждановском постановлении ЦК против Зощенко и Ахматовой, которую ленинградский партийный босс обозвал «полумонашенкой-полублудницей», перевернутый образ критика-формалиста Эйхенбаума. Слегка помешкав, я вышел вслед за Аней – не из идейной солидарности, а скорее, чтоб утешить Аню, пусть мой уход сочли демонстративным, типа демарша, и сделали дисциплинарный втык. Хотя, конечно, и из любви к Серебряному веку, к которому какое-то хронологически далекое отношение имела Младшая Акума, пусть не родная внучка Ахматовой, но выросла в присутствии Ахматовой, в тесном с ней общении, в ежедневном общении – вот откуда утонченность и манерность моей однокашницы. Ахматова даже посвятила ей стихотворение.

Так я попал в «будку» Ахматовой в Комарово, где старая поэтесса царственно восседала за письменным столом, сдирая марки с иностранных конвертов – кажется, для малолетней дочки то ли внучки какой-то своей приятельницы. Атмосфера в доме мне не понравилась – и барский, капризный, жеманный тон хозяйки, и униженная, как мне показалось, старательность Ани, хоть та и была со своей неродной бабкой на «ты». Даром что ли близкие – от родного сына до неродной внучки, вплоть до ее верного «босуэлла» Лидии Чуковской, да и многие из «ахматовки», как смешно прозвал Пастернак ее камарилью, воспринимали Ахматову «монстром» и «чудовищем»? А Лева Гумилев, задолго до разрыва с ней, в детстве говорил: «Мама, не королевствуй!» Я был удостоен разговора с Ахматовой, который больше походил на перформанс, а я в качестве единственного зрителя, а потому, преодолевая робость, стал слегка подхамливать.

Уточню здесь, что я никогда не был да так и не стал фанатом ее поэзии, хотя какие-то стихи мне нравятся. Моими кумирами были Мандельштам, Пастернак, Цветаева (к последней с годами поостыл, а из двух мужей предпочитаю теперь первого).

Хоть Аня меня и предупредила, что Ахматова плохо слышит, а слуховой аппарат носить не хочет, почему и предпочитает говорить, а не слушать, меня все равно немного раздражало это ее вынужденное пренебрежение собеседником. Спросил, почему она живет не в Царском Селе, а в Комарово, с которым ее ничто не связывает. «Именно поэтому», – отрезала Ахматова, когда до нее дошел, наконец, мой вопрос после троекратного повтора, и заговорила об анютиных глазках – по ассоциации со своим именем? – и о мавританском газончике у нее под окном. Что такое «мавританский газончик», я, естественно, не знал, а потому раздражался еще больше. Короче, вел себя самым подонистым образом – Ахматова в конце концов отвернулась к окну, дав понять, что аудиенция закончена.

Другое объяснение моему юношескому хунвейбинству: меня, как себя помню, раздражала идолизация все равно кого, и я всегда и по сию пору (в том числе в этой книге) стремился раскумирить, демифологизировать, спустить, а то и стащить с пьедестала на землю кумиров и идолов.

Идолопоклонником не был никогда. По мне, культ личности художника ничуть не лучше культа личности политика. Все священные коровы если не одинаковы, то одной породы. Поэт и царь – это не только противостояние и антитеза. Художник-выживаго научается от тирана тиранству – приложимо к Ахматовой один в один. И не только к ней.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.